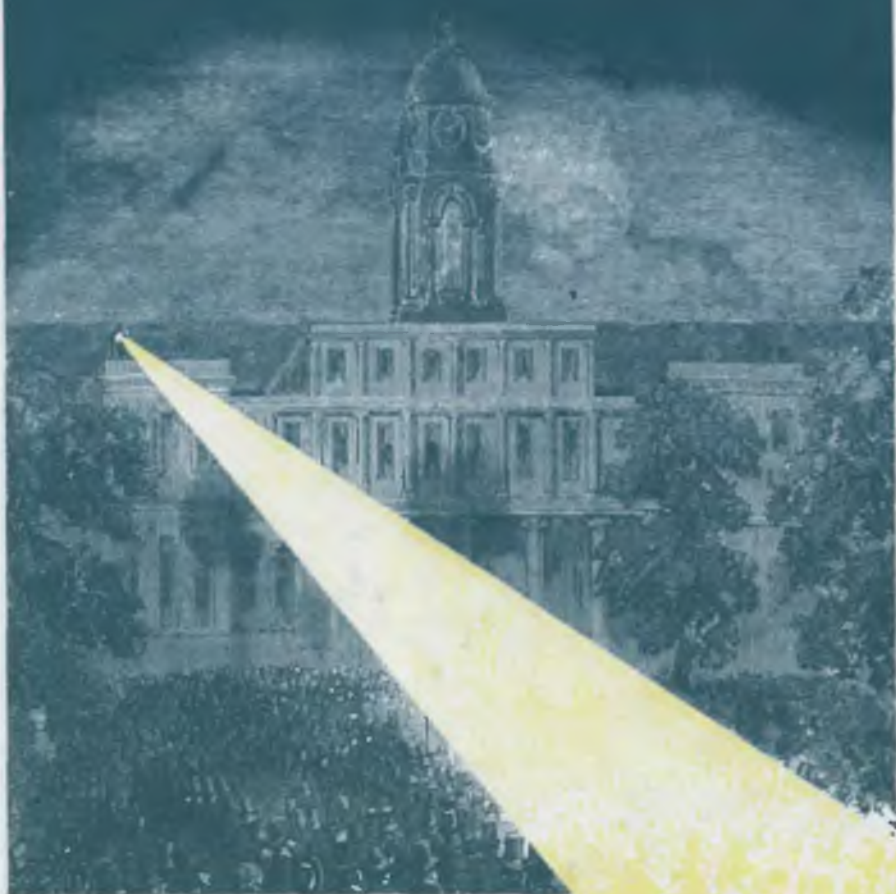


Альберт О. Хиршман

# СТРАСТИ и ИНТЕРЕСЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ  
в ПОЛЬЗУ КАПИТАЛИЗМА  
до ЕГО ТРИУМФА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

Albert O. Hirschman

# The Passions and the Interests

Political Arguments for  
Capitalism before  
Its Triumph

Princeton University Press  
1997

Альберт О. Хиршман

# Страсти и интересы

политические аргументы  
в пользу капитализма  
до его триумфа

*Перевод с английского  
Дмитрия Узланера*

Издательство  
Института Гайдара  
Москва / 2012

УДК 32.01

ББК 66.1

X50

**Хиршман, А. О.**

**X50 Страсти и интересы: политические аргументы в пользу капитализма до его триумфа [Текст] / пер. с англ. Д. Узланера. М.: Изд. Института Гайдара, 2012. — 200 с. —**

**ISBN 978-5-93255-326-8.**

В этой книге выдающийся американский экономист Альберт О. Хиршман (род. 1915) реконструирует интеллектуальный климат XVII–XVIII веков, чтобы прояснить происходившую тогда сложную идеологическую трансформацию, в ходе которой преследование материальных интересов, прежде осуждавшееся как смертный грех алчности, стало играть важную роль в сдерживании неуправляемых и разрушительных человеческих страстей.

Copyright © 1977 by Princeton University Press

Foreword by Amartya Sen copyright © 1997 by Princeton University Press

Preface to the Twentieth Anniversary Edition copyright © 1997 by Princeton University Press

© Издательство Института Гайдара, 2012

Все права сохранены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме с помощью каких-либо электронных или механических средств, включая изготовление фотокопий, запись, поиск и хранение информации, без письменного разрешения издателя.

**ISBN 978-5-93255-326-8**

# Содержание

Вступительное слово .....	8
Предисловие к двенадцатому юбилейному изданию .....	20
Благодарности .....	23
Введение .....	27

## ЧАСТЬ I. КАК ИНТЕРЕСЫ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ УРАВНОВЕСИТЬ СТРАСТИ

Идея славы и ее упадок .....	33
Человек как он есть .....	38
Подавление и обуздание страстей .....	41
Принцип уравнивания страстей .....	48
«Интерес» и «интересы» как укротители страстей .....	62
Интерес как новая парадигма .....	77
Достоинства мира, в котором правит интерес: предсказуемость и постоянство .....	85
Стяжательство и коммерция как нечто невинное и doux .....	96
Стяжательство как спокойная страсть .....	104

**ЧАСТЬ II. КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ  
ДОЛЖНА БЫЛА УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ПОРЯДОК**

Элементы доктрины .....	115
Схожие, но несколько отличные взгляды .....	143

**ЧАСТЬ III. РАЗМЫШЛЕНИЯ  
НАД ОДНИМ ЭПИЗОДОМ  
ИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ**

Где именно линия Монтескье — Стюарта свернула не туда .....	171
Обетования мира, которым правит интерес, vs. протестантская этика .....	186
Заметки о наших днях .....	190

Большое счастье для  
людей — находиться  
в положении, которое  
заставляет их быть  
добрыми ради собственной  
выгоды, в то время  
как страсти внушают им  
злые мысли.

*Шарль Луи Монтескье*  
«О духе законов»

## Вступительное слово

**А**льберт Хиршман — один из выдающихся умов нашего времени. Его работы изменили понимание экономического развития, социальных институтов, человеческого поведения, а также природы и последствий наших идентичностей, лояльностей и пристрастий. Поэтому сказать, что данная работа Хиршмана есть его самый важный вклад в науку, — значит выдвинуть очень сильный тезис. Более того, нужно еще учитывать, что данная книга — по сути, небольшая монография — посвящена истории экономической мысли, то есть предмету, которому уделяется лишь очень небольшое внимание и авторитет которого в последнее время крайне низок. Этот предмет практически полностью исчез из программ по экономике всех ведущих университетов мира. Работа «Страсти и интересы» лишена как той политической актуальности, которая свойственна репликам по ключевым вопросам общественных дискуссий (как в работе «Стратегия экономического развития»), так и той принудительной неотложности, которая вытекает из острой потребности практического разума (как в работе «Выход, голос и верность»). Так в чем же специфический интерес данной книги?



*Безобидные интересы  
и разрушительные страсти*

Дело не только в том, что Хиршман позволяет нам заново взглянуть на идеологические основания капитализма, но еще и в том, что эта новизна вытекает из идей, насчитывающих более двух столетий. Основная гипотеза, возникновение и развитие которой прослеживает Хиршман, опирается на веру в то, что капитализм «способен активизировать некоторые наиболее благородные человеческие склонности за счет более зловердных». Подобный взгляд не может не показаться странным с высоты сегодняшнего дня, а значит, тем более примечательно то обстоятельство, что данный тезис был так подробно (и в рамках своей собственной логики вполне убедительно) развит и обоснован первыми глашатаями мотивированного капитализма. Успех капитализма в современном мире оказался столь всеобъемлющим, столь бесспорным, а классификация его добродетелей и пороков столь стандартна, что нам даже трудно себе представить следующее: с самого начала для защиты капитализма использовались идеи, сильно непохожие на те, что мы используем сегодня.

Базовая идея очень убедительна в своей простоте. Если использовать аналогию (в ее классической голливудской форме), то представьте себе такую ситуацию: вас преследуют безумные фанатики, которые за что-то вас не любят, будь то цвет кожи, форма носа, вера и так далее. В тот момент, когда они уже совсем приблизились к вам, вы начинаете бросать вокруг себя деньги, и каждый из них отвлекается от погони и принимается распахивать банкно-

ты по карманам. Убегая, вы поражены своей удачей и, в частности, тем, что головорезы так благостно эгоистичны. При этом теоретик, склонный делать общие выводы, отметит, что перед нами лишь один очень грубый пример распространенного явления: сильные страсти оказываются подчинены безобидному интересу, ориентированному на приобретение богатства. Таков капитализм в его видении первыми сторонниками, анализируемыми в этой монографии.

*Контраст с информационной экономикой  
и стимулами*

Поведенческие основания капитализма, естественно, продолжают привлекать внимание, а преследование эгоистического интереса все еще занимает центральное положение в теориях, описывающих функционирование и успехи капитализма. Однако в теориях, возникающих в последние годы, интересы получают иную, гораздо более «позитивную» роль в деле способствования как эффективному распределению ресурсов посредством информационной экономики, так и слаженной работе стимулов, то есть роль интересов не сводится к сугубо негативному блокированию вредных страстей.

Аргумент Монтескье из отрывка, который вдохновил Хиршмана предпринять свое историческое исследование (о чем он упоминает в своем новом Предисловии), связан с его убеждением, что хотя страсти и могут толкать людей на «безнравственное» поведение, «они, тем не менее, имеют *интерес* не поступать таким образом». Джеймс Стюарт восхвалял «интерес» как «наиболее действенную узду»

для сдерживания «глупостей деспотизма». Данные тезисы существенно отличаются от того мотивационного анализа, который доминирует в современных теориях рыночной экономики и неограниченного капитализма.

### *Связь с современностью*

Однако важность данной работы отнюдь не ограничивается тем светом, который она проливает на историю политэкономической мысли. Многие ее идеи имеют прямое отношение к современности. Учитывая чудовищное влияние в современном мире самых мерзких страстей, нельзя не задаться вопросом: может ли капитализм и стяжательский инстинкт быть выстроен так, чтобы отвлечь людей от губительного поведения? Монтескье, Стюарт и некоторые из их современников отнюдь не едины в своем рассмотрении эгоистического интереса в качестве величайшего спасителя; некоторые позднейшие авторы (нередко не имевшие никаких представлений о работах своих предшественников) также рассматривали эгоистический интерес как путь к избавлению от влияния порочных страстей.

Как отмечает Хиршман, даже Кейнс писал: «Лучше, чтобы человек тиранил свои текущие счета, чем своих сограждан», — выражая тем самым надежду на то, что первое сможет стать «альтернативой» второму. Хиршман несколько несправедлив к Кейнсу, когда пишет следующее: «После той истории, которая была здесь изложена, просто мучительно видеть, как Кейнс в своей характерной неброской защите капитализма прибегает к аргументу, абсолютно тождественному тому, который

использовали доктор Джонсон и прочие мыслители XVIII века». Аргумент Кейнса действительно вращается вокруг интереса, но, несмотря на отсутствие новизны (о чем мы узнаем благодаря Хиршману) и возможное отсутствие знакомства Кейнса с работами его предшественников, это никоим образом не лишает его исследования актуальности.

Если предполагаемые связи действительно работают, то это даст капитализму мощное оправдание, отличное от того, что предлагается теорией общего равновесия и прочих теорий с их упором на «данные» предпочтения и обособлением экономических забот от всех прочих мотиваций. Хиршман уже достаточно подробно исследовал это направление мысли в своей работе «Конкурирующие взгляды на рыночное общество». Однако понять, как именно стимулирование стяжательского импульса и рыночных отношений может стать общим методом искоренения злоупотреблений властью и порочных страстей (например, поощрение экономического интереса вряд ли поможет решить проблемы Боснии, Руанды или Бурунди), не так-то просто; хотя, безусловно, здесь возможна определенная связь, которую не следует сходу отвергать, особенно в долгосрочной перспективе.

Эмпирические связи не так очевидны и очень сильно зависят от обстоятельств. Однако в представлении о том, что заинтересованное занятие торговлей и бизнесом, сопровождаемое соответствующим документооборотом, едва ли сочетается со страстным преследованием врагов, с использованием мачете и иных опасных орудий, есть некоторый здравый смысл. Хотя, конечно, мафия, например, может прекрасно сочетать стяжательство

с насилием и жестокостью. Так что эмпирические взаимосвязи сложны, они зависят от контекста и нуждаются в более внимательном изучении.

*Эгоистический интерес как единственная мотивация*

Еще один актуальный вывод касается эфемерной природы общих поведенческих предпосылок в экономической теории. Тот факт, что теория, которая казалась первым защитникам капитализма столь убедительной и естественной, сегодня выглядит такой экзотичной и даже странной, заставляет задуматься о поведенческих допущениях, представляющихся современным теоретикам убедительными и естественными. Мейнстримная экономическая теория активно использует предпосылку о полнокровном преследовании эгоистического интереса. Некоторые специфические примеры этой общей теории, включая ключевые теоремы Эрроу-Дебре, касающиеся эффективности, а также оптимум Парето, касающийся конкурирующего равновесия, основываются на полном изгнании «экстерналий» (включая альтруизм), за исключением их использования в самых ограниченных формах. Даже в тех случаях, когда альтруизм допускается (как, например, в случае с моделью рационального распределения Гэри Беккера), предполагается, что альтруистические действия совершаются именно в силу того, что они отвечают личным интересам человека; альтруизм способствует благополучию, вытекающему из симпатии к другим людям. При этом не уделяется никакого внимания самодостаточной приверженности добродетельному поведению или преследованию некоей неэгоистической цели. Тем самым за скобки выно-

сятся, с одной стороны, порочные страсти, которые первые теоретики капитализма противопоставляли эгоизму, а с другой — общественный долг, проанализированный Кантом в «Критике практического разума», а также рассматриваемый Адамом Смитом в его «Теории нравственных чувств».

Как было показано Хиршманом в другой его работе, есть масса фактов, опровергающих подобные излишне «бережливые» теории; также есть некоторые свидетельства о наличии баланса между частными интересами и общественными заботами, который вполне может иметь устоявшиеся — возможно, циклические — паттерны временных колебаний. Его работа «Переменчивые пристрастия» предлагает анализ всего богатства подобного экономического и социального поведения. Здесь нет возможности глубоко проработать эти существенные вопросы, но они прочно связаны с иными работами Хиршмана. В любом случае упадок прежних теорий поведенческих оснований капитализма (рассматриваемых в данном издании), которые в свое время отстаивались не менее отчаянно, чем сегодняшние предпосылки, учит нас относиться более настороженно к тем модным тенденциям, которые доминируют — нередко очень эфемерно — в современной мейнстримной мысли.

### *Роль культуры*

Как только современная мейнстримная экономическая теория утвердилась в своем допущении о простом преследовании эгоистического интереса, в мире бизнеса и политики повсеместно стали появляться декларации о культурной обусловленно-

сти мотивационных аспектов капитализма. Например, в Восточной Азии были выдвинуты важные тезисы, касающиеся важности уважения к «порядку», «дисциплине» и «лояльности» (якобы воплощенных в «азиатских ценностях») для развития капитализма. Примеры, ограничивавшиеся Японией, оказались расширены до четырех «тигров», а затем и до быстро растущего конгломерата стремительно растущих экономик Азии. На фоне недавних описаний конфуцианской этики, самурайской культуры и прочих мотивационных вариаций «Протестантская этика» Макса Вебера начинает казаться неуверенными мечтаниями ушедшего на пенсию атлета.

Некоторые из новейших теоретиков также считают, что порядок подразумевает авторитарное правление (и, возможно, даже временный отказ от соблюдения прав человека), а этот подход сам по себе подталкивает нас сравнить и сопоставить его с теми идеями, о которых пишет Хиршман. Например, эксплицитная критика Стюартом «глупостей деспотизма» дает нам замечательную стартовую точку для любых современных дискуссий. Несмотря на то, что работа Хиршмана концентрируется исключительно на европейской мысли, предмет его анализа в настоящий момент актуален и в той части света, которая пытается доказать свое право стать центром нового капитализма.

Лично я испытываю большой скептицизм относительно теорий, превозносящих чудеса «азиатских ценностей». Нередко они опираются на плохо обоснованные обобщения и озвучиваются правительственными экспертами, стремящимися парировать обвинения в авторитаризме и нарушении прав человека (пример подобного поведения имел место

на Всемирной конференции по правам человека в Вене в 1993 году). Однако общий предмет культурных предпосылок поведения, близкий идеям европейских интеллектуальных традиций, изучаемых Хиршманом, — это вполне достойный предмет для серьезных исследований (пусть даже грубые тезисы об «азиатских ценностях» и показали свою недостаточную обоснованность). Природа и посыл «европейского Просвещения» с его общими тезисами, касающимися человечности как таковой, — еще один предмет, рассматриваемый Хиршманом, — также имеет самое непосредственное отношение к сути актуализировавшихся сегодня проблем. Перед нами раскрывается очень обширное исследовательское пространство, на котором многие неэкономисты — историки, исследователи литературы, антропологи, социологи, психологи и прочие — найдут массу интересного.

Как правило, экономисты пишут для своего общества, но сочинения Хиршмана являются как сугубо специальными, так и имеющими посыл, пересекающий абсолютно все дисциплинарные границы. Данная работа, равно как и многие другие его исследования, касается проблем, относящихся ко множеству самых разных сфер, и именно это обстоятельство вкупе с интереснейшими аргументами Хиршмана и его ясным стилем делают данную книгу всеохватной по своему посылу. Например, когда Хиршман заявляет, что капитализм «затрудняет развитие цельной „человеческой личности“» и что «именно этой цели капитализм и должен был достигнуть» (согласно тем авторам, которых он рассматривает), его анализ представляет интерес для целого ряда дисциплин помимо самой экономики.



*Непреднамеренные последствия  
и неосуществленные намерения*

Основная тема исследования Хиршмана также касается общезначимого вопроса — вопроса самопознания: как же мы пришли к тому, с чем мы имеем дело сегодня? Разъяснение, которое мы получаем благодаря данной работе, в некотором смысле сопоставимо с личным прозрением — подобно воспоминаниям забытых мыслей из раннего детства, когда человек принимает решение все-таки не становиться машинистом и хочет понять, как именно он пришел к этому. Идеи, реконструируемые в работе «Страсти и интересы», оказали примерно схожее влияние на оправдание возникающей системы капитализма (взывая к могуществу благотворного эгоизма), и пусть даже все вышло совсем не так, как ожидалось, идеи все же оказали влияние на ход событий. Это реальность воображаемого мира, которая помогла создать тот реальный мир, в котором мы живем сегодня.

Даже если отвлечься от конкретной проблематики данной книги, сама тема ожиданий, которые поддерживают решительные и фундаментальные изменения, но которые так и не выливаются ни во что конкретное, представляет достаточно большой интерес. Если Смит, Менгер, а также Хайек зачарованы «непреднамеренными, но осуществившимися последствиями», то Хиршман показывает силу и влияние «преднамеренных, но неосуществившихся последствий». Последние куда менее заметны, чем первые (ведь у нас нет возможности их наблюдения), однако влияние этих неосуществившихся ожиданий чувствуется по сей день.

Я бы сказал так: из двух феноменов тот, на который обращает внимание Хиршман, гораздо более интересен. Факт того, что некоторые последствия наших действий являются непреднамеренными, интересен лишь в некоторых обстоятельствах. Наши действия могут иметь самые разные последствия, и лишь некоторые из них могут привлекать наше внимание. Вот тривиальный пример: когда я выхожу из дома, чтобы купить газету, меня видят люди, которые мне не знакомы. Однако едва ли факт того, что меня замечают незнакомые люди, служит основанием для выхода на улицу (я лишь хотел купить газету); это непреднамеренное, но осуществившееся последствие. Шумиха вокруг «непреднамеренных последствий наших действий» во многих случаях искусственна.

В случае преднамеренных последствий все совсем наоборот: их ожидания были очень важны для действий в тот момент, когда те совершались,— данные действия были предприняты именно для реализации этих последствий. Таким образом, нереализация этих преднамеренных последствий есть настоящее отклонение от того, что ожидалось. Соответственно, они представляют гораздо больший интерес. Пусть даже феномен, изучаемый Хиршманом, и кажется вариацией на старую тему «непреднамеренных последствий», он действительно интересен сам по себе и может в конечном счете оказаться более увлекательным и влиятельным, чем та мнимая загадка, которую так прославили Смит, Менгер, Хайек и другие.

*Заключительное слово*

В своем вступительном слове я попытался представить некоторые из причин, по которым я считаю

данную книгу не просто важным интеллектуальным исследованием, но именно лучшим образцом творчества Хиршмана. Книга представляет не только исторический интерес, но и имеет прямое отношение к современности; ее аудиторию составляют представители самых разных дисциплин, а не только экономики или истории экономики. Огромная заслуга Хиршмана заключается в том, что те высокие стандарты, в соответствии с которыми и должна оцениваться данная книга, были заданы его собственными работами. И данная работа полностью соответствует этим высоким стандартам.

*Амартия Сен*  
*Июль 1996 года*

## Предисловие к двенадцатому, юбилейному, изданию

Среди мои работ «Страсти и интересы» уже давно занимают особое место. Как это зачастую бывает со многими обществоведами, и в чем я не так давно признался во время длинного интервью, я нередко писал свои книги, чтобы доказать, что нечто является или являлось ложным. Работа «Стратегия экономического развития» во многом была призвана составить противоречие для различных теорий сбалансированного роста. Точно так же «Выход, голос и верность» многим обязана воодушевлению, вызванному обнаружением доводов против аксиомы, согласно которой конкуренция (выход) — это исключительно надежное противоядие против всех бед экономической организации. Однако в случае с работой «Страсти и интересы» все оказалось совершенно иначе. Данная книга не была написана против кого бы то ни было, против какой-либо конкретной интеллектуальной традиции. Ни принимая, ни опровергая существующие направления мысли, она обладала качеством самостоятельности, а также свободного и независимого развития.

Затем в своей последней книге я обратил внимание на общую характеристику моих поздних работ — «склонность к самоопровержению». Я говорю здесь о своей склонности показывать, что я (а не другие) ошибался или, по крайней мере, не сказал всего. На-

пример, помимо особой динамики индустриализации, которая продолжает развиваться за счет различных взаимозависимостей, как я показал в «Стратегии экономического развития», я затем исследовал противоположный, абортивный синдром «застревания», который может оказать влияние на только что индустриализировавшиеся страны.

Точно так же в работе «Выход, голос и верность» изначально я фокусировался на многочисленных ситуациях, когда любое решительное использование силы подрывается способностью к выходу. Однако затем меня заворожил важный исторический пример того, как выход и голос *соединились* в слове института — Германской Демократической Республики в ходе событий 1989 года.

И вновь здесь данная тенденция к самоопровержению так и не проявила себя по отношению к тезису, который я представлял в работе «Страсти и интересы». Скорее, я заново утвердил и усилил базовое положение данной книги в двух последующих статьях — «Концепция интереса: от эвфемиза к тавтологии» и в особенности в своей лекции имени Марка Блока «Конкурирующие взгляды на рыночное общество»<sup>1</sup>. В обеих статьях идеи книги были дополнены примерами из истории политэкономической мысли XIX и XX веков.

Учитывая то упрямство, с которым я развивал свою основную тему, имеет смысл рассказать не-

---

1. *Albert O. Hirschman. Rival Views of Market Society and Other Recent Essays. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. Хиршман А. Интересы // «Невидимая рука» рынка. М.: ГУ — ВШЭ, 2009. С. 210–215; Хиршман А. Рыночное общество. Противоположные точки зрения // Социологические исследования. 2001. № 3. С. 43–53.*

сколько слов об ее истоках. Я отчетливо вспоминаю, что много лет назад я был сильно поражен фразой Монтескье из «О духе законов», которую я в конечном счете и выбрал в качестве эпиграфа: «Большое счастье для людей — находиться в положении, которое заставляет их быть добрыми ради собственных интересов, в то время как страсти внушают им злобные мысли». Пару лет спустя я натолкнулся на схожее и более «институционализированное» предложение сэра Джеймса Стюарта из его «Исследования принципов политической экономии», согласно которому «сложная система современной экономики (т. е. интересов) с необходимостью является «наиболее действенной уздой, когда-либо изобретенной против глупостей деспотизма». В данном случае мы видим примечательный случай схождения Французского и Шотландского Просвещения, и я решил подробнее изучить данные идеи, касающиеся связи политики и экономики, до самого их истока. Оказалось, что это сложная и окольная история. Ее богатый и полный иронии характер убедил меня, что я докопался до какой-то «своей» истины, поэтому у меня никогда не было никаких мыслей относительно ее исправления.

*Альберт О. Хиршман*

*Апрель 1996 года*

## Благодарности

**П**ервый набросок данной книги появился в 1972–1973 годах, когда я был приглашенным сотрудником Института углубленных исследований, находясь в академическом отпуске Гарвардского университета. В следующем году мне пришлось отложить работу над рукописью — мне предложили постоянную должность в Институте, и я согласился. Затем в 1974–1975 годах мной было внесено множество дополнений и коррективов, и в 1975–1976 годах я вносил лишь небольшие исправления. Я прекрасно понимаю, что моя аргументация вполне могла бы быть расширена, подкреплена фактами, уточнена, нюансирована и украшена, но к марту 1976 года я почувствовал, что рукопись достигла должного уровня завершенности и я полон желания предложить мое творение со всеми его ошибками и т. д. на суд публики. В этот момент мне вспомнился колумбийский министр финансов, который был очень нетерпелив в том, что касалось подписания указов, а когда я советовал ему быть более благоразумным, он отвечал примерно следующее: «У меня нет достаточных средств для содержания большого штата исследователей, но если указ действительно ударяет по неким группам, то они все исследуют вместо меня».

уже после издания указа, и если они убедят меня, я издам другой указ!» Я издаю свою книгу именно с этим настроением, правда, я не могу пообещать раздосадованным читателям или критикам, что я напишу еще одну книгу, если буду с ними согласен. Впрочем, едва ли кто-то из них будет от меня этого требовать.

Если говорить о возможной критике, то я приношу некоторые извинения Дж. Г. А. Поукоку, чья работа «Момент Макиавелли» затрагивает вопросы, тесно связанные с теми, что интересовали меня в моем исследовании. Хотя я и почерпнул очень многое из целого ряда статей профессора Поукока, которые затем были инкорпорированы в его монументальный труд, основные аргументы моей книги были сформулированы до того, как мне представилась возможность ознакомиться с его исследованием. Именно по этой причине мой анализ не отражает полного знакомства с его точкой зрения, хотя это и было бы крайне желательным.

Своим исследованием я обязан целому ряду людей, которые, однако, не несут никакой ответственности за конечный результат. Особенно полезным был обмен идеями и информацией, осуществлявшийся между обществоведами и историками в рамках Института специальных исследований; наиболее плодотворными оказались дискуссии с Дэвидом Бином и Пьером Бурдые в 1972–1973 годах, а также с Квентином Скиннером и Дональдом Уинчем в 1974–1975 годах. Для меня была очень важна реакция со стороны Джудит Шкляр и Майкла Уолцера на первый набросок книги в 1973 году. Джудит Тендлер подвергла данную рукопись подробнейшей



критике, очень свойственной ее проницательно-  
му уму. Наконец, Сэнфорд Тэтчер из издательства  
Принстонского университета редактировал и вся-  
чески помогал обрабатывать рукопись, используя  
всю свою незаурядную компетенцию, работоспо-  
собность и хорошее настроение.

*Принстон, Нью-Джерси*  
*Май 1976 года*

## Введение

**П**оявление этой работы во многом обусловлено неспособностью современных общественных наук не только пролить свет на политические последствия экономического роста, но и объяснить тот факт, что политические корреляты экономического роста очень часто оказывались ужасающими, независимо от того, имел ли место этот рост при капиталистической, социалистической или какой-либо другой системе. Как мне казалось, размышления о такого рода связях должны были быть очень распространены на ранних этапах развития экономики, особенно в XVII и XVIII веках. Учитывая, что тогда еще не существовало ни экономических, ни политических «дисциплин», не было и никаких междисциплинарных барьеров, которые требовалось преодолеть. Как следствие, философы и политэкономы могли свободно размышлять о вероятных последствиях, например, торговой экспансии для мира или же промышленного роста для свободы. Есть смысл оглянуться на их размышления хотя бы в силу нашей собственной сегодняшней специализированной заикленности на той или другой сфере.

Такой была изначальная мотивация при написании данной работы, и именно она толкала меня к штудированию шедевров социальной мысли XVII

и XVIII веков. Принимая во внимание богатство и сложность корпуса этих шедевров, нет ничего удивительного в том, что в результате я пришел к гораздо более широкому и амбициозному проекту, чем тот, что предполагался мной в самом начале. Те самые ответы на вопросы, с которых я начинал, сами в качестве некоего побочного продукта натолкнули меня на новый подход к интерпретации «духа» капитализма и его возникновения. Думаю, имеет смысл кратко обрисовать здесь мой подход, оставив более подробное изложение на последнюю часть исследования.

Огромный пласт литературы противопоставлял аристократический, героический идеал феодальной эпохи и Ренессанса буржуазной ментальности, а также протестантской этике позднейшей эпохи. Упадок одной этики и возвышение другой с исчерпывающим вниманием рассматривались и представлялись в этих самых понятиях как два различных исторических процесса, каждый из которых имел своего протагониста — особый социальный класс: с одной стороны, увядающая аристократия, а с другой — поднимающаяся буржуазия. Историки по вполне понятным причинам находят описание данной истории как действия, в ходе которого молодой претендент вырывает приз у стареющего чемпиона, очень привлекательным. Однако эта концепция оказалась привлекательной в том числе и для тех, кто искал научного знания об обществе, искал так называемые законы его развития. Марксисты и веберианцы расходятся в своем анализе того, какую роль играли экономические и неэкономические факторы в этом процессе, но обе стороны рассматривают рост капитализма и его «духа» как

покушение на существовавшие до этого идеи и общественно-экономические отношения.

Группа историков не так давно поставила под вопрос классовый характер Великой французской революции. Я не притязаю на то, чтобы быть ниспровергателем традиционных подходов в истории идей, но я собираюсь представить некоторые свидетельства того, что новое в гораздо большей степени вытекало из старого, чем это принято считать. Изобразить долгую идеологическую перемену или переход как эндогенный процесс куда сложнее, чем пытаться представить его как возвышение независимой, революционной идеологии, которым сопровождался упадок этики, господствовавшей прежде. Первый сценарий требует от нас вычленения последовательности многосоставных идей и суждений, конечное развитие которых по необходимости скрыто от первооткрывателей индивидуальных связей; будь это иначе, по крайней мере на ранних стадиях процесса, им бы пришлось отпрянуть от этих идей и пересмотреть их, ведь в этом случае они бы понимали, к чему эти идеи в конечном счете могут привести.

Когда реконструируется подобная последовательность взаимосвязанных идей, то, как правило, исследователи опираются на свидетельства из множества источников; в лучшем случае они могут уделить лишь крохи внимания тем системам идей, в которых данные свидетельства были укоренены. По сути, именно это я и собираюсь сделать в первой части своей работы. Во второй части фокус несколько сужается, чтобы можно было сосредоточить внимание на наиболее важных моментах этой последовательности. Я подробно рассматри-

ваю тех авторов, которые всесторонне разрабатывали данные позиции, например Монтескье или сэра Джеймса Стюарта, пытаюсь понять, как интересующие нас идеи соотносятся с общей направленностью их мысли. В третьей части данной работы я анализирую историческую значимость рассматриваемого эпизода интеллектуальной истории и подчеркиваю его важность для разрешения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Часть I  
Как интересы  
были призваны  
уравновесить страсти

## Идея славы и ее упадок

Вначале ключевого раздела своего знаменитого эссе Макс Вебер задавался вопросом: «Каким же образом эта деятельность, которую в лучшем случае признавали этически допустимой, могла превратиться в «призвание» в понимании Бенджамина Франклина?»<sup>1</sup> Другими словами, как именно коммерция, банковское дело и схожие занятия по заработку денег в какой-то момент Нового времени стали чем-то почетным, хотя до этого столетиями они осуждались и презирались как жадность, любовь к наживе и алчность?

Однако обширная критическая литература, посвященная «Протестантской этике и духу капитализма», усмотрела изъяны даже в этой стартовой позиции веберовского анализа. Как утверждают критики, «дух капитализма» витал среди купцов уже в XIV–XV веках, а позитивное отношение к некоторым разновидностям коммерческой деятельности может быть возведено аж к схоластическим сочинениям<sup>2</sup>.

- 
1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 93.
  2. См.: Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 1994; Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 118; *Raymond de Roover. The Scholastic Attitude Toward Trade and Entrepreneurship* // *de Roover. Business. Banking and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe* / ed. Julius Kir-

Тем не менее вопрос Вебера вполне оправдан, если понимать его в сопоставительном ключе. Неважно, насколько сильно одобрялась коммерция и прочие формы заработка, в любом случае по шкале средневековых добродетелей они стояли ниже целого ряда иных видов деятельности, например, стремления к славе. Я начну с небольшого экскурса из истории идеи славы в Средние века и эпоху Возрождения, чтобы тем самым попытаться возродить чувство удивления по поводу появления «духа капитализма».

В начале христианской эпохи Блаженный Августин снабдил нас путеводителем по средневековому мышлению, заклеив похоть к деньгам и собственности как один из трех главных грехов падшего человека; двумя оставшимися грехами были страсть властвования (*libido dominandi*) и сексуальная похоть<sup>3</sup>. В целом Блаженный Августин был совершенно беспристрастен в своем осуждении этих трех человеческих стремлений или страстей. Если уж он и признает какие-то особые нюансы, связанные с любой из них, то только в отношении *libido dominandi* и лишь тогда, когда она сочетается с сильным стремлением к почету и славе. В частности, Блаженный Августин упоминает «гражданскую добродетель» в тот момент, когда описывает былых римлян, которые «демонстрировали вавилонскую любовь к земной Отчизне» и которые «подавляли свое желание богатства и многие иные пороки во имя единственного порока — любви к почету»<sup>4</sup>.

---

shner. Chicago: University of Chicago Press, 1974; также см. вводное эссе: Ibid. P. 16–18.

3. См.: Herbert A. Deane. The Political and Social Ideas of St. Augustine. New York: Columbia University Press, 1963. P. 44–56.

4. Ibid. P. 52, 268.



В контексте дальнейшей аргументации стоит обратить внимание на то, что Блаженный Августин не исключает возможности того, что один порок может сдерживать все остальные. В любом случае его ограниченное признание стяжательства славы оставило щелочку, которая затем была значительно расширена адептами рыцарского, аристократического идеала, превратившими стремление к чести и славе в краеугольный камень добродетели и величия. То, о чем Августин высказывался с опаской и некоторым нежеланием, позднее было возвеличено с необыкновенной помпой: любовь к славе в отличие от сугубо частного преследования богатства может иметь «искупительную социальную ценность». Как оказывается, идея «невидимой руки», то есть идея силы, заставляющей людей потакать своим частным страстям, но при этом тайно ведущей их к общественному благу, была сформулирована Монтескье именно в связи с жадой славы, а не денег. Вопросы чести в монархии, как писал Монтескье, «приводят в движение все части политического организма; самым действием своим она связывает их, и каждый, думая преследовать свои личные интересы, по сути стремится к общему благу»<sup>5</sup>.

Вне зависимости от наличия или отсутствия подобного утонченного оправдания стремление к чести и славе в средневековом рыцарском этосе было чрезвычайно экзальтировано, пусть даже оно вступало в некоторое противоречие с основами учения не только Августина, но еще и целого ряда других религиозных авторитетов, начиная с Фомы Ак-

---

5. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 283.

винского и заканчивая Данте, обрушивавшихся на стремление к славе как на нечто тщетное (*inanis*) и греховное<sup>6</sup>. Затем в эпоху Возрождения стремление к чести превратилось в доминирующую идеологию — это было связано с упадком влияния Церкви, когда поборники аристократического идеала получили возможность опираться на многочисленные греческие и римские тексты, прославлявшие стремление к славе<sup>7</sup>. Это мощное интеллектуальное течение продолжило свое существование в том числе и в XVII веке: наверное, самой яркой иллюстрацией концепции стяжательства славы как единственного оправдания жизни можно считать трагедии Корнеля. Одновременно формулировки Корнеля были столь бескомпромиссными, что они в конечном счете способствовали впечатляющему упадку аристократического идеала. В этом упадке поучаствовали многие из современников Корнеля<sup>8</sup>.

---

6. Конфликт этих двух интеллектуальных традиций задокументирован в издании: *Maria Rosa Lida de Malkiel. La idea de la fama en la Edad Media Castellana.* Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1952. Также см. французский перевод данной работы, которая имеет более подходящее название: *Maria Rosa Lida de Malkiel. L'idée de la gloire dans la tradition occidentale.* Paris: Klincksieck, 1968.

7. Ibid. Chapters 1 and 2. Преемственность средневекового рыцарского этоса по отношению к аристократическому идеалу Ренессанса подчеркивается также в работах Поля Бенишу: *Paul Bénichou. Morales du grand siècle.* Paris: Gallimard, Collection Idées, 1948. P. 20–23; эта же преемственность отмечается Хейзингой в его полемике с Якобом Буркхардтом: *Хейзинга Й. Осень Средневековья.* Т. 1. М.: Прогресс, 1995. С. 30 и 75 и далее.

8. *Bénichou.* Ibid. P. 15–79. Тезис о том, что герои Корнеля, а также их начинания, всегда кончают одинаково плохо, см.:

Писатели из целого ряда западноевропейских стран внесли свой вклад в «устранение героя»<sup>9</sup>, при этом ключевую роль сыграли писатели из Франции, страны, которая зашла дальше всех в деле культивирования героического идеала. Все героические добродетели были перетолкованы как формы простого самосохранения (Гоббс), себялюбия (Ларошфуко), тщеславия и бегства от настоящего знания самого себя (Паскаль). Расин представлял героические страсти как нечто унижительное, до него Сервантес разоблачал их как глупость, если не сумасшествие.

Подобная удивительная трансформация нравственной и идеологической сцены происходит совершенно неожиданно, исторические и психологические причины этого до сих пор непонятны. Ключевой момент, который хотелось бы отметить, заключается в том, что люди, ответственные за эту трансформацию, не принижали статус традиционных ценностей для того, чтобы выдвинуть новый нравственный кодекс, соответствующий интересам или потребностям нового класса. Порицание героического идеала никак не связывалось с отстаиванием нового буржуазного этоса. При всей очевидности данного тезиса применительно к Паскалю и Ларошфуко он в равной степени верен и для Гоббса, если, конечно, не принимать во внимание некоторые альтернативные интерпретации его творчества<sup>10</sup>.

---

*Serge Doubrovsky. Corneille et la dialectique du héros. Paris: Gallimard, 1963.*

9. Это сильное выражение принадлежит Бенишу: *Bénichou. Morales. P. 155–180.*

10. См. убедительное доказательство данного тезиса К. Томаса в полемике с К. Б. Макферсоном: *Keith Thomas. Social Ori-*

На протяжении долгого времени считалось, что пьесы Мольера несут в себе послание, суть которого в прославлении буржуазных добродетелей, однако данная интерпретация в конечном счете оказалась неверной<sup>11</sup>.

Таким образом, сам по себе отказ от героического идеала мог лишь восстановить равенство в бесстыдстве, которым Августин покрыл жажду денег, власти и славы (если не упоминать про похоть как таковую). Однако факт в том, что менее чем за сто лет стяжательство и связанная с ним деятельность, например, торговля, банковское дело и производство, получили статус высокочтимых занятий. Это было вызвано целым рядом причин. Однако данная колоссальная перемена не была никоим образом связана с тем, что одна полностью готовая идеология одержала верх над другой. Реальная история была гораздо более сложной и запутанной.

## Человек как он есть

Эта история действительно начинается в эпоху Возрождения, но не с развитием новой этики, то есть новых правил поведения для *индивида*, а с новым поворотом в теории *государства*, с попыткой улучшения искусства государственного управления в рамках существующего порядка. Настаивать на данной

---

gins of Hobbes's Political Thought // ed. K. C. Brown. Hobbes Studies. Oxford: Blackwell, 1965.

11. *Bénichou*. Morales. P. 262–267, 285–299.

точке отсчета — значит исходить из эндогенных особенностей истории, которую я собираюсь поведать.

Стремясь научить государя тому, как получить, сохранить и преумножить свою власть, Макиавелли провел знаменитое фундаментальное разделение на «настоящую правду» и «республики и княжества, никогда не виденные и о которых на деле ничего не было известно»<sup>12</sup>. В этом разделении как бы подразумевается, что бытовавшая до этого нравственная и политическая философия вела речь исключительно о втором, не давая тем самым государю никакого руководства к действию в реальном мире, с которым приходилось все время иметь дело. Позже требование научного позитивного подхода было перенесено с государя на индивида, с природы государства на природу человека. Макиавелли, похоже, чувствовал, что реалистическая теория государства требует реалистического знания человеческой природы, но его замечания по этому поводу при всей их невероятной проницательности являются разрозненными и несистематизированными. В следующем столетии произошло разительное изменение. Развитие математики и небесной механики дало повод надеяться на открытие законов движения для действий человека, подобных законам движения падающих тел и планет. Так, Гоббс, основывающий свою теорию человеческой природы на учении Галилея<sup>13</sup>, перед тем как перейти к теме государства,

---

12. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Собрание сочинений в 1 т. СПб.: Ленинградское издательство, 2011. С. 68–69.

13. См. введение Ричарда Питерса в работе: Body, Man, Citizen: Selections from Thomas Hobbes / ed. Richard Peters. New York: Collier, 1962.

посвящает первые десять глав «Левиафана» природе человека. Но именно Спиноза с особой остротой усилил обвинения Макиавелли в адрес утопических мыслителей прошлого<sup>14</sup>, на этот раз критика была направлена в адрес концепций индивидуального человеческого поведения. В открывающем параграфе «Политического трактата» он нападает на философов, которые «людей... берут не такими, каковы те суть, а какими они хотели бы их видеть»<sup>15</sup>. Подобное разделение позитивного и нормативного мышления вновь возникает в «Этике», когда Спиноза выступает против тех, кто предпочитает «гнушаться человеческими аффектами и действиями или их осмеивать», его собственный знаменитый проект заключается в том, чтобы «рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»<sup>16</sup>.

Тезис о том, что человек «как он есть на самом деле» — это подобающий предмет для политической науки, продолжает утверждаться, порой почти рутинно, в том числе и в XVIII веке. Вико, читавший Спинозу, в этом, если не во всех остальных вопро-

---

14. Лео Штраус в работе «Критика религии у Спинозы» (*Leo Strauss. Spinoza's Critique of Religion. New York: Schocken, 1965. P. 277*) отмечает «потрясающий факт — тон Спинозы гораздо острее, чем у Макиавелли». Он объясняет это тем, что Спиноза, будучи прежде всего философом, был куда больше увлечен утопической мыслью, чем Макиавелли, являвшийся политическим ученым.

15. Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Сочинения в 2 т. Т. 2. СПб.: Наука, 1999. С. 249.

16. Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения в 2 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. С. 334–335.

сах, в точности следовал за ним. В своих «Основа-  
ниях новой науки» он пишет:

Философия рассматривает человека таким, каким он должен быть; таким образом, она может принести плоды лишь немногим, стремящимся жить в Республике Платона, а не пресмыкаться в нечистотах города Ромула. Законодательство рассматривает человека таким, каков он в действительности, чтобы извлечь из этого пользу для человеческого общества<sup>17</sup>.

Даже Руссо, взгляды которого на природу человека сильно отличались от взглядов Макиавелли и Гоббса, отдает должное данной идее, открывая работу «Об общественном договоре» фразой: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы — такими, какими они могут быть»<sup>18</sup>.

## Подавление и обуздание страстей

Все более настойчивый императив рассматривать человека таким, каким он является на самом деле, имеет простое объяснение. В эпоху Возрождения возникло, а в XVII веке окончательно укрепилось

---

17. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев: REFL-book, ИСА, 1994. С. 75.

18. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. С. 197.

чувство того, что морализаторская философия и религиозные предписания уже не в силах быть надежными инструментами сдерживания пагубных страстей человека. Требовались новые подходы, и этот поиск начался почти сразу же с подробного и беспристрастного препарирования природы человека. Были люди типа Ларошфуко, которые ковырялись в этих глубинах и провозглашали свои «беспощадные открытия» с таким удовольствием, что это препарирование начинало казаться самоцелью. Однако в целом этим занимались для того, чтобы обнаружить более эффективные способы регулирования человеческого действия, чем те, что сводились к морализаторским наставлениям или же угрозам вечного проклятия. Вполне естественно, что данный поиск оказался успешным: можно выделить целых три направления аргументации, предложенные в качестве альтернативы опоре на религиозные заповеди.

Наиболее очевидной альтернативой, которая как бы предвосхищает анализируемое здесь идейное движение, служит призыв к принуждению и подавлению. Задача сдерживания — если нужно, то силой — самых худших и опасных последствий и проявлений страстей возлагается на государство. Таковой была задумка Августина, схожие соображения в XVI веке высказывались Кальвином<sup>19</sup>. Любой утвердившийся социальный и политический порядок оправдан самим фактом своего существования.

---

19. См.: *Deane. Political and Social Ideas of St. Augustine. Ch. IV*; также см. рассмотрение Майклом Уолцером политической мысли Кальвина: *Michael Walzer. The Revolution of the Saints. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965. P.30–48.*



Его возможные несправедливости — это возмездие за грехи падшего человечества.

Политические системы Августина и Кальвина в некотором отношении сильно напоминают систему, описываемую в «Левиафане» Гоббса. Но все же ключевым изобретением Гоббса следует считать его основанную на идее сделки концепцию договора, которая по своему духу чужда всем прежним авторитарным системам. При всей печально известной трудности по категоризации мысль Гоббса будет рассмотрена в рамках несколько иной категории.

Решение проблемы, вытекающей из признания непокорных страстей человека, через подавление связано с рядом трудностей. Что делать, если суверен не может выполнить свою работу ввиду излишней снисходительности, жестокости или какого-то иного обстоятельства? Как только встает этот вопрос, перспективы появления подходящего суверена или же системы власти становятся столь же вероятными, что и перспективы ограничения человеком собственных страстей благодаря увещеваниям морализаторских философов или церковников. Ввиду того, что вероятность последнего близка к нулю, репрессивное решение оказывается противоречивым в своих же собственных предпосылках. Воображать возникающую как *dues ex machina* власть, способную каким-то образом усмирить те страдания и горести, которые люди причиняют друг другу в силу собственных страстей, значит заболтать все имеющиеся трудности, вместо того чтобы их решить. Вероятно, именно по этой причине репрессивное решение не пережило того момента, когда в XVII веке страсти подверглись подробнейшему изучению.

Решение, куда лучше гармонирующее с данными психологическими открытиями и увлечениями, заключается в идее *обуздания* страстей вместо просто-го их подавления. И вновь государство или «общество» позиционируется как та инстанция, которая должна решить эту задачу, но на этот раз не просто в качестве оплота репрессий, а в качестве реформатора, цивилизующего посредника. Размышления о подобной трансформации разрушительных страстей в нечто конструктивное могут быть обнаружены уже в XVII веке. Предвосхищая «невидимую руку» Адама Смита, Паскаль восхваляет величие человека, ссылаясь на то, что последний «смог вывести из похоти восхитительное устройство», создать «столь прекрасный порядок»<sup>20</sup>.

В начале XVIII века Джамбаттиста Вико выразил эту же идею с гораздо большей полнотой, при этом, что характерно, наделив ее статусом потрясающего открытия.

Так из свирепости, скупости и честолюбия (эти три порока пронизывают насквозь весь род человеческий) оно создает войско, торговлю и двор, т. е. силу, богатство и мудрость Государств. И из этих

---

20. Паскаль Б. Мысли. № 502, 503. Мысль о том, что общество, скрепляемое себялюбием, а не милосердием, может быть вполне жизнеспособным, несмотря на свою греховность, обнаруживается у целого ряда янсенистов — современников Паскаля. Например, у Николя и Дома. См.: *Gilbert Chinard. En lisant Pascal*. Lille: Giarel, 1948. P. 97–118; *D. W. Smith. Helvetius: A Study in Persecution*. Oxford: Clarendon Press, 1965. P. 122–125. Прекрасное современное исследование Николя см.: *Nannerl O. Keohane. Non-Conformist Absolutism in Louis XIV's France: Pierre Nicole and Denis Veiras* // *Journal of the History of Ideas*. Vol. 35. Oct.-Dec. 1974. P. 579–596.

трех великих пороков, которые, несомненно, уничтожили бы поколение людей на земле, оно создает Гражданское Благополучие. Эта Аксиома доказывает, что здесь присутствует Божественное Провидение; другими словами — Божественный Ум-Законодатель: из страстей людей, всецело преданных своим личным интересам, из-за которых они принуждены были бы жить, как дикие звери, в одиночестве, он создает гражданские установления, и благодаря им люди живут в Человеческом Обществе<sup>21</sup>.

Это одно из тех суждений, которым Вико обязан своей славой в высшей степени неординарного ума. Хитрость разума Гегеля, фрейдовская концепция сублимации, «невидимая рука» Адама Смита — все это уже имплицитно чувствуется в этих двух предложениях. Однако пока здесь отсутствует детализация, мы не получаем ни малейшего представления о тех условиях, благодаря которым могут произойти столь чудесные метаморфозы и разрушительные «страсти» станут «добродетелями».

Идея приспособления страстей, их принуждение работать на общее благо была в детализированном виде представлена английским современником Вико Бернардом Мандевилем. Мандевиль, которого многие считают прародителем идеи *laissez-faire*, на протяжении всего текста своей «Басни о пчелах» постоянно упоминает «умелое управление искусного политика» в качестве необходимого условия и неотъемлемой предпосылки для превращения «частных пороков» в «блага для общества». Однако в силу того, что конкретный *modus operandi* этого политика

---

21. Вико Дж. Основания... С. 75; также см.: Там же. С. 74, 76.

так и не был раскрыт, неясность относительно благотворных и парадоксальных трансформаций так никуда и не делась. Лишь один порок получает у МанDEVИЛЯ детальное рассмотрение, на его примере мы видим, как именно происходит подобная трансформация. Я, естественно, имею в виду знаменитый отрывок, где он рассматривает страсть к материальным благам вообще и к роскоши в частности<sup>22</sup>.

Таким образом, вполне можно утверждать, что МанDEVИЛЬ сузил пространство, в котором его парадокс имеет силу, до одного конкретного «порока» или страсти. В этом отступлении от общих формулировок он нашел себе очень успешного последователя в лице Адама Смита с его работой «Исследование о природе и причинах богатства народов», полностью посвященной страсти, традиционно известной как алчность или скупость. Более того, благодаря эволюции языка, которая в деталях будет рассмотрена чуть позже, Смиту удалось совершить еще один колоссальный рывок в сторону превращения данного предположения в нечто привлекательное и вполне убедительное: он притупил остроту шокирующего парадокса МанDEVИЛЯ, заменив сло-

---

22. Было убедительно показано, что МанDEVИЛЬ под выражением «умелое управление» не подразумевал каждодневное вмешательство и регулирование, но именно медленную работу и эволюцию путем проб и ошибок подобающей правовой и институциональной рамки. См.: *Nathan Rosenberg. Mandeville and Laissez-Faire // Journal of the History of Ideas. Vol. 24. April-June 1963. P. 183–196.* И вновь *modus operandi* данной рамки скорее постулируется, чем объясняется МанDEVИЛЕМ. А что касается роскоши, чье благоприятное влияние на общее благосостояние описывается им в деталях, то активная роль политика или институциональной рамки в этом процессе не так значительна.

ва «страсть» и «порок» на такие менее жесткие понятия, как «преимущество» или «интерес».

В этой ограниченной и одомашненной форме идея приспособления смогла не только выжить, но даже превратиться в главную догму либерализма XIX века, а также в центральный пункт экономической теории. Однако отказ от идеи обуздания никоим образом не был всеобщим. Некоторые из более поздних сторонников данной идеи были еще даже менее осторожны, чем Вико: для них поступательное развитие истории было достаточным доказательством того, что страсти людей каким-то образом сочетаются с общим прогрессом человечества и мирового духа. И Гегель, и Гердер писали нечто подобное в своих работах по философии истории<sup>23</sup>. Знаменитая концепция хитрости разума Гегеля как раз и была призвана выразить идею того, что люди, потакая своим страстям, на самом деле служат высшей всемирно-исторической цели, о которой они не имеют ни малейшего представления. Символично, что данная концепция не присутствует в его работе «Философия права», в которой Гегель обеспокоен не столько напором мировой истории, сколько конкретной эволюцией общества во времени. Столь откровенное одобрение страстей, заключающееся в концепции хитрости разума, по определению не может присутствовать в работе, занимающей критическую позицию

---

23. Согласно Гердеру, «все страсти людские — буйные побеги силы, которая сама не знает себя, а по природе своей стремится лишь к лучшему» (*Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества*. М.: Наука, 1977. С. 433).

по отношению к современным общественным и политическим реалиям.

Последним сторонником данной идеи в ее наиболее откровенном виде является Мефистофель из «Фауста» Гете с его знаменитым определением себя как «части той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Как кажется, идея обуздания порочных страстей здесь отрицается почти полностью — вместо этого упор делается на их трансформацию в результате некоего оккультного, пусть и благосклонного, мирового процесса.

## Принцип уравнивания страстей

Перед лицом всепоглощающей реальности беспокойной, страстной, импульсивной природы человека решениям, предполагающим подавление и обуздание страстей, не хватало убедительности. Подавление было способом избавления от проблемы, а не ее решения; стратегия же обуздания несла на себе печать алхимической трансформации, явно диссонирующей с научным энтузиазмом своего времени.

Сам материал, с которым работали моралисты XVII века, то есть подробное описание и изучение страстей, был просто обязан предложить третье решение. Нельзя ли отделить одни страсти от других и бороться с огнем при помощи огня — использовать один набор сравнительно безобидных страстей для того, чтобы уравновесить другой, более опасный и разрушительный? Можно ли ослабить и приру-

читать страсти за счет их междоусобной борьбы в духе *divide et impera*? Данный ход представляется простым и очевидным после разочарования в эффективности морализаторства, однако, несмотря на упомянутое выше проходное замечание Августина, он оказывается куда более сложным по сравнению с проектом одновременного наступления на все виды страстей. Основные страсти в литературе традиционно фигурировали как единое целое, в интеллектуальной традиции они составляли своеобразную порочную троицу: начиная с Данте и его *Superbia, invidia e avarizia sono / Le tre faville ch'anno i cuori accesi*<sup>24</sup> («Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах / Три жгучих искры») и заканчивая *Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht*<sup>25</sup> (честолюбие, властолюбие и корыстолюбие) в «Идее всеобщей истории» Канта. Подобно трем бичам человечества — войне, голоду и мору — эти основные страсти, как считалось, подпитывают друг друга. Привычка рассматривать их как нечто неразделимое была еще более упрочена практикой их совокупного противопоставления диктату разума или же императивам спасения.

Средневековые аллегории часто изображали битвы добродетелей с пороками внутри души человека<sup>26</sup>. Как это ни парадоксально, но, вероятно, именно данная традиция сделала возможным

---

24. Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь VI. Стр. 74–75.

25. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 16.

26. Именно по этой причине данный жанр получил известность как психомахия. Его историю, начиная с «Психомахии» Пруденция, работы V века, и заканчивая циклом порока и добродетели с центрального портика фасада Собора Парижской Богоматери, см.: *Adolf Katzenellenbogen. Allego-*

для позднейшего более реалистичного века рассмотреть перспективу битв несколько иного рода: перспективу натравливания одной страсти на другую так, чтобы это, подобно битвам прошлого, способствовало благополучию человека и человечества. Данная идея возникла в XVII веке на самых разных полюсах интеллектуальной мысли и у самых разных типов личностей, будь то Бэкон или Спиноза.

Для Бэкона эта идея стала результатом его систематических усилий по расшатыванию метафизического и теологического бремени, не позволявшего людям мыслить индуктивно и на основе экспериментов. В разделах его работы «О развитии обучения», в которых речь идет о «Склонностях и воле человека», традиционная нравственная философия подвергается критике за то, что она мыслит так, как если бы

человек, который обучает писать, демонстрировал бы только букварь и соединения букв, не давая никаких указаний или направлений для движения руки или оформления букв. Так, морализаторы демонстрировали прекрасные и справедливые примеры и копии, несущие на себе печать Блага, Добродетели, Блаженства... но как именно добиться столь замечательных печатей, как именно дисциплинировать и сформировать волю человека так, чтобы она соответствовала этим стремлениям, — на этот вопрос не дается никакого ответа...<sup>27</sup>

---

ries of the Virtues and Vices in Mediaeval Art. London: Warburg Institute, 1939.

27. *Francis Bacon. Works* / ed. J. Spedding et al. London, 1859. Vol. III. P. 418.



Хотя подобная критика и известна еще со времен Макиавелли, данное сравнение очень провокационно. Парой страниц ниже Бэкон пытается предложить свое решение той задачи, которая была им поставлена. Он делает это под видом одобрения поэтов и историков за то, что они в противоположность философам

с большой жизненностью изобразили то, как разжигаются и подстрекаются страсти; как они усмиряются и сдерживаются... как они обнаруживают себя, как они работают, как они разнятся, как они скапливаются и усиливаются, как они заворачиваются друг в друга, как они борются и сталкиваются друг с другом подобно мельчайшим частицам материи; среди всего этого буйства особый интерес для вопросов нравственных и гражданских представляет последний процесс; *как (я спрашиваю) натравить один аффект на другой, как управлять одним аффектом за счет другого*: ведь мы же охотимся с помощью одних зверей на других, с помощью одних птиц на других... Как в вопросах управления государством иногда необходимо усмирять одну фракцию за счет другой, так и применительно к управлению внутренним миром иногда полезно использовать этот способ<sup>28</sup>.

Эта пафосная тирада и особенно ее последняя часть, судя по косвенным уликам, опирается не столько на достижения поэтов и историков, сколько на собственный солидный опыт Бэкона в качестве политика и государственного деятеля. Кроме того, идея контроля страстей путем использования одних страстей против других прекрасно гармонирует с дерзким экспериментальным уклоном его мысли. Но,

---

28. Ibid. P. 438. Курсив добавлен.

с другой стороны, формулировки Бэкона, похоже, не пользовались особым влиянием в его время. На них обратили внимание лишь современные исследователи, стремящиеся представить Бэкона предшественником Спинозы и Юма, отводившим данной идее куда большее место в своих построениях<sup>29</sup>.

Прорабатывая свою теорию аффектов, Спиноза в «Этике» формулирует две предпосылки, являющиеся существенными для развития его идеи:

Аффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным и более сильным аффектом, чем аффект, подлежащий укрощению<sup>30</sup>.

и Истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно, не может препятствовать никакому аффекту; оно способно к этому лишь постольку, поскольку оно рассматривается как аффект<sup>31</sup>.

На первый взгляд, кажется странным, что Спиноза с его метафизическим уклоном и его сравнительно малой вовлеченностью в деятельную жизнь оказался сторонником той же концепции, что и Бэкон. Связано это было с несколькими причинами. Ничто не было столь чуждо уму Спинозы, как мысль о том, что аффекты могут быть полезным образом усмирены и подвергнуты манипуляции путем натравливания одного аффекта на другой. Только что проци-

---

29. *Leo Strauss*. The Political Philosophy of Hobbes. Oxford: Clarendon Press, 1936. P. 92; также см.: *Rachael M. Kydd*. Reason and Conduct in Hume's Treatise. New York: Russell & Russell, 1946. P. 116.

30. *Спиноза Б.* Этика // *Спиноза Б.* Сочинения в 2 т. Т. I. СПб.: Наука, 1999. С. 400.

31. Там же. С. 404.

тированные отрывки были призваны подчеркнуть силу и автономность аффектов, тем самым выявив реальные препятствия для достижения конечного пункта назначения «Этики» Спинозы. Этот конечный пункт назначения — триумф разума и любви к Богу над аффектами; идея уравновешивания аффектов выступает лишь как простая промежуточная стадия на пути к цели. В то же время данная идея играет ключевую роль в произведении Спинозы, что становится ясным из самого последнего предложения работы:

Мы наслаждаемся им [блаженством] не потому, что обуздываем свои страсти, но, наоборот, вследствие того, что мы наслаждаемся им, мы в состоянии обуздывать свои страсти<sup>32</sup>.

Таким образом, первый великий философ, который отводил идее о том, что страсти могут быть успешно побеждены лишь за счет других страстей, почетное место, не имел ни малейшего намерения переводить данную идею в плоскость практического нравственного или политического проектирования, пусть он и склонялся к такой возможности<sup>33</sup>. Действительно, данная мысль не фигурирует в политических работах Спинозы, которые в иных отношениях не испытывают нехватки в практических советах относительного того, как заставить индиви-

---

32. Там же. С. 477.

33. Об этом свидетельствует, например, следующее суждение: «Под *противоположными аффектами* я буду разумеать в дальнейшем такие аффекты, которые влекут человека в различные стороны, хотя бы они были и одного и того же рода, как, например, кревоугодие и скупость, составляющие виды любви» (там же, с. 396).

дуальные особенности человеческой природы работать на благо общества.

Несмотря на то, что Юм называет философию Спинозы «отвратительной», его идеи, касающиеся страстей и их отношения к разуму, оказываются необычайно близкими к Спинозе<sup>34</sup>. Юм всего лишь более радикален в своем провозглашении непроницаемости страстей для разума; «разум есть и должен быть лишь рабом аффектов» — это одно из его наиболее известных высказываний. Столь экстремальная позиция нуждалась в компенсирующей мысли о том, что одна страсть вполне может выступать в качестве противовеса другой. Данная идея провозглашается им во все том же ключевом разделе: «Ничто не может оказать противодействие импульсу аффекта или же ослабить его, кроме противоположного импульса»<sup>35</sup>.

В отличие от Спинозы Юм был полон желания использовать свои прозрения на практике. В третьей книге «Трактата» при рассмотрении вопроса об «источках общества» он делает это незамедлительно. Рассуждая о «жадности к приобретению разных благ и владений», он находит ее столь разрушительной и одновременно столь влиятельной, что единственный способ ее сдерживания — заставить ее *уравновесить саму себя*. Данная задача, очевидно, не из легких, но вот какое решение предлагает Юм:

Эгоистический аффект не может быть сдерживаем никаким иным аффектом, кроме себя самого,

---

34. Kydd. Hume's Treatise. P. viii, 38, 156–162.

35. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 457.

но лишь при условии изменения своего направления; изменение же это необходимо должно произойти при малейшем размышлении. Ведь очевидно, что аффект этот гораздо лучше удовлетворяется, если его сдерживать, чем если давать ему волю, и что, сохраняя общество, мы в гораздо большей степени обеспечиваем себе приобретение собственности, чем пребывая в том одиноком и беспомощном состоянии, которое необходимо следует за насилием и всеобщей разнузданностью<sup>36</sup>.

Здесь, конечно, можно было бы поспорить и указать на то, что признание необходимости в силу того или иного основания или размышления, каким бы «малейшим» оно ни было, означает введение чуждого элемента (который, более того, должен быть «рабом аффектов») в ту сферу, в которой лишь страсть должна бороться со страстью. Однако моя задача заключается не столько в том, чтобы указать на изъязы мысли Юма, сколько в том, чтобы продемонстрировать то влияние, которое на него оказывала идея уравновешивания страстей. Данная идея мелькает в целом ряде других не столь принципиальных мест его наследия. Например, обсуждая Мандевилля, он утверждает, что хотя роскошь и является злом, она является куда меньшим злом, чем «леность», вполне могущая стать результатом запрета роскоши.

Таким образом, самое разумное — это быть удовлетворенным суждением о том, что наличие двух противоположных пороков в государстве более выгодно, чем присутствие лишь одного из них; но при этом ни в коем случае не будем описывать порок как нечто само по себе благоприятное.

---

36. Там же. С. 532–533.

Далее следует еще более общая формулировка:

Какими бы ни были следствия чудесной трансформации человечества, которая бы наделила его всеми добродетелями, освободив при этом от любых грехов, должностных лиц заботить это не должно, ведь они нацелены лишь на возможное. Зачастую один порок можно исцелить лишь за счет другого порока; в этом случае государственный деятель должен выбирать то, что менее пагубно для общества<sup>37</sup>.

В другом месте, о чем будет сказано ниже, Юм призывал к тому, чтобы ограничить «любовь к удовольствию» за счет «любви к приобретательству». Его завораживало и другое применение идеи, пусть он и не мог с ним согласиться, как, например, в случае следующего места из эссе «Скептик»:

Ничто не может быть более разрушительным для честолюбия и страсти к завоеваниям, — говорит Фонтенель, — чем истинная система астрономии. Как жалок весь земной шар по сравнению с бесконечной протяженностью природы! Это соображение явно чересчур выпендрено, чтобы иметь какой-либо эффект. А если бы оно имело какой-либо эффект, то не уничтожило ли бы оно наравне с честолюбием также и патриотизм?<sup>38</sup>

Данная полемика позволяет предположить, что идея управления социальным прогрессом путем умного натравливания одной страсти на борьбу с другой в XVIII веке становится общим интеллектуаль-

---

37. *David Hume. Of Refinement in the Arts* in David Hume // *Writings on Economics* / ed. E. Rotwein, Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1970. P. 31–32.

38. Юм Д. Скептик // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 592.

ным развлечением. Она находит свое выражение у целого ряда писателей разного масштаба и фигурирует как в абстрактной, так и в прикладной форме. Последний жанр иллюстрирует статья «Фанатизм» из «Энциклопедии», представляющая собой воодушевленную обличительную речь против религиозных институтов и верований. Статья заканчивается особым разделом, посвященным «патриотическому фанатизму», который заслуживает теплых слов именно потому, что он может успешно противодействовать религиозному фанатизму<sup>39</sup>. Свое абстрактное выражение данная идея получает у Вовенарга:

Аффекты противостоят аффектам, один аффект может быть противовесом другого аффекта<sup>40</sup>.

Этот язык в более детализированном виде может быть обнаружен и у Гольбаха:

Настоящим противовесом страстей являются страсти; не будем же стараться разрушать их, но попытаемся направить их; уравновесим вредные страсти страстями, полезными для общества. Рассудок... является ничем иным, как искусством выбирать те страсти, которым мы должны давать волю ради нашего собственного счастья<sup>41</sup>.

Принцип уравновешивания страстей возник в XVII веке в силу господствовавшего тогда мрачно-

---

39. *Franco Venturi. Utopia e riforma nell'Illuminismo. Torino: Einaudi, 1970. P. 99.* В данной работе Вентури проследивает удивительную карьеру, которую удалось сделать автору данной статьи, Александру Делейре.

40. *Vauvenargues. Oeuvres completes. Paris: Hachette, 1968. Vol. I. P. 239.*

41. *Гольбах П. Система природы. Ч. 1. Гл. 17.*

го взгляда на природу человека и более общего убеждения в том, что страсти являются опасными и деструктивными. В ходе последующего столетия как природа человека, так и страсти все более и более реабилитировались<sup>42</sup>. Во Франции самым яростным защитником страстей был Гельвеций<sup>43</sup>. Его позиция отчетливо заявлена уже в самих заголовках глав из книги «Об уме» — «О могуществе страстей», «Об умственном превосходстве людей, охваченных страстью, по сравнению с людьми рассудительными», «Люди становятся тупыми, когда они перестают быть охваченными страстью». Точно так же Руссо постоянно повторял свой призыв взглянуть на человека таким, «какой он есть», пусть даже его концепция человеческой природы разительно отличалась от концепции родоначальников призыва. Таким образом, стратегия уравнивания страстей никуда не исчезла, хотя сами страсти теперь уже считались скорее чем-то воодушевляющим, чем разрушительным. По сути, Гельвеций смог отчеканить одну из наиболее ясных формулировок данного принципа — ту, что отсылает к оригинальной формуле Бэкона при условии добавления к ней напора рококо:

Очень немногие моралисты умеют пользоваться нашими страстями, вооружая их друг против друга и тем заставляя нас согласиться с их взглядами; большая же часть их советов слишком оскорбительна. А они должны были бы понять, что оскорбления не могут успешно бороться с чувства-

---

42. Также см. ниже: Гольбах П. Система природы // Гольбах П. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1963. С. 346.

43. D. W. Smith. Helvétius. P. 133–135.



ми; что только страсть может победить страсть. Например, для того, чтобы побудить легкомысленную женщину быть более сдержанной и стыдливой, надо ее кокетству противопоставить ее тщеславие, внушить ей, что стыдливость изобретена любовью и утонченным сладострастием... Заменяя таким образом брань указаниями на собственный интерес, моралисты могли бы заставить принять свои правила<sup>44</sup>.

Для нашего следующего шага чрезвычайно важен тот факт, что слово «интерес» было использовано здесь как родовое понятие для обозначения тех страстей, которым приписывается уравновешивающая функция.

Из Франции и Англии данная идея перебралась в Америку, где она была использована отцами-основателями в качестве важного интеллектуального инструмента, необходимого для целей конституционного проектирования<sup>45</sup>. Хороший — и, учитывая недавний опыт президентства, в высшей степени актуальный — пример может быть найден в 72-м выпуске «Федералиста», где Гамильтон оправдывает принцип переизбрания президента. Его аргу-

---

44. Гельвеций К. А. Об уме // Гельвеций К. А. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 261–262.

45. На данную тему см.: *Arthur O. Lovejoy*. *Reflections on Human Nature*. The Johns Hopkins Press, 1961. Lecture II: «The Theory of Human Nature in the American Constitution and the Method of Counterpoise»; *Richard Hofstadter*. *The American Political Tradition and the Men Who Made It*. New York: Alfred A. Knopf, 1948. Ch. I: «The Founding Fathers: An Age of Realism»; *Martin Diamond*. *The American Idea of Man: The View from the Founding* // *Irving Kristol and Paul Weaver*, eds. *The Americans* 1976. Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1976. Vol. II. P. 1–23.

менты в основном вращаются вокруг того влияния, которое запрет на переизбрание будет оказывать на мотивации должностного лица. Среди всех прочих болезненных последствий упоминается то, что у него будет «искушение предаться скверным взглядам и погрязнуть в казнокрадстве»:

Алчный человек, оказавшийся на государственной должности, готовя себя к тому, что он в любом случае обязан расстаться со своими доходами, может ощутить позыв — а такому человеку трудно ему сопротивляться, наилучшим образом использовать возможности, пока они имеются, — и без угрызений совести прибегнет к самым коррумпированным уловкам, чтобы сорвать по случаю солидный куш. Но тот же самый человек при иной перспективе может удовлетвориться обычными приработками, которые дает ему должность, и даже не захотеть пойти на риск последствий в результате злоупотребления своими возможностями. Так, сама алчность защитит от его же алчности. Присопokuпите к этому то, что тот же человек может быть таким же тщеславным или честолюбивым, как алчным. И поскольку он при хорошем поведении мог ожидать продления своих дней в почете, он колебался бы принести в жертву свою тягу к ним ради удовлетворения собственного корыстолюбия. Но перед перспективой приближения неизбежной утраты поста алчность, пожалуй, возьмет верх над осторожностью, тщеславием и честолюбием<sup>46</sup>.

Последние предложения демонстрируют настоящую виртуозность во владении идеей уравнивания — у современного читателя, чуть менее привыкшего

---

46. Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Прогресс, 1994. С. 473–474.

к прочтению подобных работ, просто перехватывает дыхание.

Более известный пример схожего размышления может быть найден в 51-м выпуске «Федералиста», в котором красноречиво отстаивается принцип разделения властей между различными ветвями правительства. Это делается с опорой на тезис о том, что «честолюбие должно противостоять честолюбию». Смысл в том, что амбиции одной ветви власти должны уравновешивать амбиции другой, и данный расклад сильно отличается от предшествующей ситуации, когда страсти рассматривались как место борьбы в *индивидуальной* душе человека. Однако существенно то, что принцип разделения властей оказывался представлен под маской другого принципа: сравнительно новая мысль о сдержках и противовесах увеличивала собственную значимость, подавая себя в качестве примера применения общепринятого и хорошо известного принципа уравновешивания страстей.

Естественно, это не было сознательной уловкой. По сути, сам автор данного предложения (Гамильтон или Мэдисон) стал первой жертвой той путаницы, которую оно вызвало, — далее текст звучит следующим образом: «Саму необходимость прибегать к подобным средствам, чтобы избежать злоупотреблений со стороны правительства, вполне можно считать размышлением о человеческой природе. Но что такое само правительство, как не величайшее из всех размышлений о природе человека?» Суждение о том, что злые импульсы человека могут быть сдержаны, лишь если заставить одни страсти бороться с другими и нейтрализовывать их, является полноценным «размышлением о природе че-

ловека». С другой стороны, принцип разделения властей ни в коем случае не является столь же оскорбительным для природы человека. Складывается ощущение, что, написав лапидарную фразу о том, что «честолюбие должно противостоять честолюбию», автор пытался убедить себя в том, что основанием нового государства является именно принцип уравнивания страстей, а не система сдержек и противовесов.

Если обобщать, то тезис о том, что именно этот принцип заложил интеллектуальное основание принципа разделения властей, представляется вполне правдоподобным. Таким образом, рассматриваемое здесь направление мысли вернулось к своему исходному пункту: оно начиналось с государства, перешло к рассмотрению проблем индивидуального поведения, а затем те прозрения, которые были достигнуты на данной фразе, были импортированы обратно в теорию политики.

### «Интерес» и «интересы» как укротители страстей

Как только стратегия натравливания одной страсти на другую была продумана и признана приемлемой, если даже не многообещающей, то возникла необходимость в дальнейшем шаге: для того чтобы стратегия обрела прикладной характер, для того чтобы она, если использовать современный жаргон, стала «функциональной», нужно хотя бы в самом общем виде определить, какие именно страсти дол-

жны быть назначены на роль укротителей, а какие, наоборот, следует отнести к «диким» страстям, нуждающимся в укрощении.

Подобное специфическое распределение ролей подразумевается в идее договора Гоббса, который заключается лишь потому, что «желания и прочие страсти людей», например, неудержимая жажда богатства, славы и владений, могут быть преодолены лишь за счет «страстей, склоняющих человека к миру», например, «страха смерти; желания вещей, необходимых для хорошей жизни, и надежды приобрести их своим трудолюбием»<sup>47</sup>. В этом смысле все учение об общественном договоре является производным от стратегии уравнивания. Гоббсу было необходимо сослаться на эту стратегию лишь *один-единственный раз* в целях основания такого государства, в котором проблемы, создаваемые страстными людьми, могли бы быть решены раз и навсегда. Держа в голове эту цель, для него было достаточно *ad hoc* определить укрощающие страсти и страсти, нуждающиеся в укрощении. Однако многие из современников Гоббса, разделявшие его обеспокоенность затруднениями, испытываемыми людьми и обществом, не могли принять его радикального решения; они считали, что стратегия уравнивания должна была действовать на постоянной основе. Для достижения данной цели необходимо было вывести более общую и постоянную формулу распределения ролей. И такая формула вскоре возникла, ее суть заключалась в сталкивании *интересов* людей с их *страстями*, в противо-

---

47. Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 98.

поставлении благоприятных следствий ситуации, когда люди следуют своим интересам, гибельному положению, когда людям предоставляется свобода потакать собственным страстям.

Для понимания противопоставления этих двух концептов следует сказать несколько слов о чередовании (а порой и сосуществовании) разных смыслов понятий «интерес» и «интересы» в ходе эволюции языка и идей. «Интересы» лиц и групп в конечном счете стали пониматься как отсылающие к экономическим благам; это может быть прослежено не только в обыденном языке, но также и в таких академических обществоведческих понятиях, как «классовые интересы» и «группы интересов». Однако если брать историю понятия, то экономический смысл закрепился за ним достаточно поздно. Когда в конце XVI века в Западной Европе понятие «интерес» начало использоваться для обозначения забот, чаяний и преимуществ, его содержание никоим образом не ограничивалось исключительно материальными аспектами личного благополучия, скорее, оно подразумевало всю тотальность человеческих устремлений, при этом содержа в себе элемент рефлексии и расчета в отношении того, как эти устремления должны были реализовываться<sup>48</sup>. На самом деле, серьезные размышления, использовавшие понятие «интерес», впервые появились в контексте, далеком от индиви-

---

48. История данного понятия уходит еще дальше вглубь веков, например, интерес в смысле процента, получаемого при одалживании денег, а также странное французское использование слова *intérêt* в смысле ущерба и утраты — это значение до сих пор дает о себе знать, в частности, в таком выражении, как *dommages-intérêts* (возмещение убытков).

дов и их материального благополучия. Выше было показано, как забота об улучшении качества государственного управления стимулировала стремление к большему реализму в анализе человеческого поведения. Та же самая логика привела к появлению первого определения «интереса» и его подробного рассмотрения.

И вновь именно Макиавелли, инициировавший дискуссии о стратегии натравливания одних страстей на другие, стоит у истоков того идейного направления, которое я собираюсь исследовать. Как мы увидим, эти два направления на протяжении долгого времени развивались отдельно, но в конечном счете слились — и результаты этого слияния в высшей степени примечательны.

Макиавелли не дал своему чаду никакого имени. Он давал правителям рекомендации, но при этом не подводил их под какое-то общее понятие. Однако по прошествии некоторого времени его работы поспособствовали распространению двух изначально синонимических понятий — *interesse* и *ragione di stato*, которые вошли в повсеместное употребление во второй половине XVI века, о чем свидетельствует выдающееся исследование Мейнеке<sup>49</sup>. Эти понятия должны были вести войну на два фронта: с одной стороны, они провозглашали независимость от морализаторских предписаний и правил, господствовавших в политической философии до Макиавелли, с другой — они были призваны вычлениить «утонченную рациональную волю, нетронутую

---

49. Friedrich Meinecke. Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. Munich: R. Oldenbourg, 1924. S. 85ff.

страстями и сиюминутными импульсами»<sup>50</sup>, которая способна была дать государю ясное и основательное руководство к действию.

Основная битва, в которую оказался вовлечен Маккиавелли, основатель новой науки об управлении государством, естественно, велась на первом фронте, пусть даже Мейнеке и показывает, что он никогда не забывал и о втором<sup>51</sup>. Ограничения действий государя, подразумеваемые концепцией интереса как компаса, вышли на первый план в тот момент, когда данная концепция перебралась из Италии во Францию и Англию. Они дают о себе знать уже в знаменитом открывающем предложении из эссе «Об интересах монархов и государств христианского мира», написанного гугенотом Анри де Роганом: *Les princes commandent aux peuples, et l'intérêt commande aux princes* («Государи командуют народами, а интересы командуют государями»).

Как указывает Мейнеке, Роган мог заимствовать данную формулу у итальянских авторов, писавших об искусстве управления государством, например, у Боккалини и Бонавентуры, которые называли интерес «тираном тиранов», а *ragione di stato* «государем всех государей»<sup>52</sup>. Однако Роган пускается в длительные размышления, чтобы разъяснить свою позицию. Обозначив в самом общем виде национальные интересы Испании, Франции, Италии, Англии и прочих ведущих держав своего времени, он во второй части своего эссе продолжает приво-

---

50. Friedrich Meinecke. Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. Munich: R. Oldenbourg, 1924. S. 184.

51. Ibid. S. 52–55.

52. Ibid. S. 211.



дить некоторые исторические эпизоды, призванные доказать, что

в вопросах управления государством нельзя позволять себе руководствоваться ни беспорядочными аппетитами, которые нередко заставляют нас взваливать на себя задачи, превышающие наши силы; ни могущественными страстями, которые начинают ангажировать нас всякий раз, как они завладевают нами... нам следует руководствоваться исключительно интересами, определяемыми только разумом, который должен быть правилом наших действий<sup>53</sup>.

Данное программное утверждение сопровождается несколькими примерами из истории государей, оказавшихся у разбитого корыта из-за того, что они следовали за собственными страстями, а не за собственными интересами.

По иронии судьбы, новая доктрина государственного интереса стала отвращать от потакания страстям и атаковать их сразу же после того, как все морализаторские и религиозные предписания были высмеяны как нереалистические и бесполезные. Эту иронию ощущали и сами авторы этих предписаний, и некоторые из них тут же воспользовались услугами своего нового и несколько неожиданного союзника. В качестве примера можно взять епископа Батлера, доказывавшего, что «разумное себялюбие», то есть интерес, может единым фронтом вместе с нравственностью выступить *против* страстей:

---

53. Часть II. Введение. Важно здесь то, что разум сведен до сугубо инструментальной роли указателя того, в чем **именно** заключается настоящий интерес государства.

...конкретные страсти сочетаются с осмотрительностью или разумным себялюбием, задача которого — соблюсти наш мирской интерес, не больше, чем они сочетаются с принципом добродетели и религии... данные страсти представляют собой искушение начать действовать одинаково неосмотрительно с точки зрения нашего мирского интереса и порочно<sup>54</sup>.

Таким образом, для государя новая доктрина оказалась столь же ограничивающей, что и прежняя. Более того, вскоре она обнаружила собственную — до определенной степени — бесполезность: если традиционные стандарты добродетельного поведения были *труднодостижимы*, интерес, как оказалось, был очень *трудноопределим*. Сказать, что интерес короля заключается в поддержании и увеличении своего могущества и богатства, просто, однако это едва ли способно дать точные «правила принятия решений» для конкретных ситуаций.

Как мастерски показал Мейнеке, история попыток изложить подобные правила извилиста и едва ли внушает особый оптимизм. И тем не менее, хотя понятие интереса в той сфере, в которой оно изначально возникло (государь или государство), заглохло, оно получило значительное развитие в области группового и индивидуального поведения внутри государства. В этой сфере смесь корысти и рациональности, являвшаяся выработанной в дискуссиях об управлении государством квинтэссенцией мотивированного интересом по-

---

54. *Joseph Butler. The Analogy of Religion // Joseph Butler. Works. Oxford: Clarendon Press, 1896. Vol. I. P. 97–98.*

ведения, оказалась в особенности полезной и обнадеживающей.

Переход от *интереса* правителя к *интересам* различных групп управляемого населения случился и в Англии, и во Франции. В Англию концепция интереса в единственном числе, призванная вести государей и государственных деятелей и затем превратившаяся в «национальный интерес», была явно импортирована из Франции и Италии в начале XVII века<sup>55</sup>. Работа Рогана «Об интересе монархов и государств христианского мира» сыграла в этом процессе ключевую роль. Она была очень быстро переведена и вызвала множество дискуссий. Одна из ключевых фраз Рогана *L'intérêt seul ne peut jamais manquer* («Лишь интерес никогда не может обманывать», идет сразу после слов *Le prince peut se tromper, son Conseil peut être corrompu, mais...* («Монарх может обманываться, его Совет может быть коррумпирован, но...»)) в открывающем параграфе легла в основу максимы «интерес не лжет», получившей значительное хождение в Англии XVII века<sup>56</sup>.

---

55. J. A. W. Gunn. Politics and the Public Interest in the Seventeenth Century. London: Routledge and Kegan Paul, 1969. P. 36 и далее. Данное исследование было для меня чрезвычайно полезным в плане содержащейся в нем информации о понятии «интереса» и «интересов» в Англии XVII века. Также см. статью: J. A. W. Gunn. «Interest Will Not Lie»: A Seventeenth-Century Political Maxim // Journal of the History of Ideas. Vol. 29. Oct.-Dec. 1968 P. 551–564. Не менее блестящий анализ схожих вопросов см.: Felix Raab. The English Face of Machiavelli: A Changing Interpretation, 1500–1700. London: Routledge and Kegan Paul, 1964. P. 157–158.

56. Данная максима была использована в качестве заголовка очень важного памфлета Маркамонта Недама, викария и очень гибкого политика, равно как и великого почита-

В своем эссе Роган определяет интерес в понятиях династической или внешней политики. Именно революция и гражданская война в Англии середины XVI века просто по необходимости придали понятию интереса более внутренний и групповой оттенок. «Интерес Англии» уже более не рассматривался в связи с Испанией или Францией, скорее, он отсылал к основным протагонистам внутренних противоборств. Точно так же после Реставрации обсуждение религиозной терпимости затрагивало интерес Англии в связи с интересами пресвитериан, католиков, квакеров и прочих групп. Лишь к концу столетия, когда удалось восстановить политическую стабильность и гарантировать некоторую степень религиозной терпимости, интересы групп и индивидов стали все чаще обсуждаться в понятиях экономических чаяний<sup>57</sup>. К началу XVII века Шефтсбери определял интерес как «желание удобств, благодаря которым мы обеспечиваем себя всем необходимым», а также говорил об «обладании богатством» как о «той страсти, которая должна считаться особенно *интересной*»<sup>58</sup>. Юм схожим образом использо-

---

теля и даже ученика как Макиавелли, так и Рогана. См. только что упомянутые работы Ганна и Рааба.

57. В конце своей длинной библиографической сноски, касающейся «интереса», Рааб пишет: «Именно в конце данного периода [то есть в последней декаде XVII века] «интерес» приобрел сугубо экономический... смысл» (*Felix Raab. The English Face of Machiavelli. P. 237*). Ганн пишет еще более обобщающе: «Интерес проделал очень быстрый путь от залов заседаний до рыночной площади» (*Gunn. Politics. P. 42*).

58. *Shaftesbury. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times. Reprint of the 1711 edn. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1964. P. 332, 336* (курсив в оригинале).

вал понятия «страсть интереса» или «заинтересованный аффект» в качестве синонимов «алчности к приобретению благ и владений» или «любви к стяжательству»<sup>59</sup>. Подобной эволюции понятия способствовали схожие изменения в смысле понятия «общественный интерес»; «достаток» становился все более значимым ингредиентом данного выражения<sup>60</sup>.

Во Франции политические условия *le grand siècle* едва ли благоволили систематическим размышлениям, касающимся частных или групповых интересов в их отношении с интересами государственными. И тем не менее история понятия *intérêt* в общем напоминала историю английского аналога. Идея интереса в том ее виде, как она получила развитие в политической литературе, начиная с Макиавелли, то есть идея дисциплинированного понимания того, что значит увеличивать собственную власть, влияние и богатство, вошла во всеобщее употребление в начале XVII века. Очень быстро ее взяли на вооружение великие моралисты и прочие литераторы той эпохи в своем тщательном препарировании индивидуальной природы человека. Так как фоном, на котором трудились эти литераторы,

---

59. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 525–544. *La Rochefoucauld. Oeuvres*. Paris: Hachette, 1923. Vol. I. P. 30.

60. Gunn. Politics. Ch. 5, также см. p. 265. Это не противоречит известному исследованию Винера о том, что власть и изобилие были двумя равнозначными целями внешней политики на протяжении всей меркантилистской эпохи. См.: *Jacob Viner. Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* // *World Politics*. Vol. 1. 1948, цит. по: D. C. Coleman, ed. *Revisions in Mercantilism*. London: Methuen, 1969. P. 61–91.

был двор Людовика XIV, то и «интерес» участников трактовался ими в тех же категориях, что и интерес самого суверена, то есть интерес не только в богатстве, но также прежде всего во власти и влиянии. Таким образом, понятие «интерес» нередко использовалось в очень инклюзивном смысле. Но даже тогда в силу ряда процессов — и здесь очевидная точка схождения истории Англии и Франции — смысл понятия все более сужался до преследования сугубо материальных, экономических благ. Такой вывод можно сделать на основе «Совета читателю», которым Ларошфуко предварил второе издание своих «Максим» (1666):

Под словом интерес я понимаю не всегда интерес, касающийся богатства (*un intérêt de bien*), но чаще всего интерес, имеющий отношение к части и славе<sup>61</sup>.

Данное предостережение против недопонимания было единственным смысловым моментом всего краткого предисловия; очевидно, что для средне-статистического читателя «Максим» понятие «интерес» начало приобретать все более ограниченный смысл экономической выгоды.

Примерно в то же время Жан де Сильон, секретарь Ришелье и его апологет, зафиксировал и развил эволюцию данного понятия в трактате, подчеркивающим позитивную роль, которую интерес играет в поддержании жизни и функционировании общества. Он приводит целый список интересов: «интерес сознания, интерес чести, интерес здоровья, интерес богатства и целый ряд прочих интере-

---

61. *La Rochefoucauld. Oeuvres.* Paris: Hachette, 1923. Vol. I. P. 30.

сов». Затем он объясняет невыгодные коннотации, связанные с выражением *homme intéressé*, тем фактом, что «понятие интереса остается связанным — по непонятным мне причинам (*je ne sais comment*) — исключительно с заинтересованностью в богатстве (*Intérêt du bien ou des richesses*)»<sup>62</sup>.

Как именно следует объяснять данную тенденцию? Возможно, она была связана с привычной ассоциацией интереса с ростовщицеством; понимание интереса в таком ключе на несколько столетий предвосхищает то понимание, которое рассматривается здесь. Кроме того, близость рациональных калькуляций, имплицитно подразумевающихся в концепции интереса, к сущности экономической деятельности может вполне быть использована в качестве объяснения того, что данные формы деятельности в конечном счете монополизировали содержание понятия «интерес». Наконец, в контексте Франции XVII века, когда власть была стабильно и полностью сконцентрирована в одних руках, экономические интересы неизбежно оказывались единственным содержанием чаяний простых людей, единственным мерилom, которым они могли визуализировать собственные взлеты и падения.

Адам Смит сформулировал эту точку зрения в качестве общего суждения как раз в тот момент, когда он рассматривал то, что можно считать основным мотивом человеческой деятельности, то есть «желание улучшить свое положение»:

---

62. *Jean de Silhon. De la certitude des connaissances humaines. Paris, 1661. P. 104–105.*

Большинство людей предполагает и желает улучшить свое положение посредством увеличения своего имущества. Это — самое обыкновенное и самое простое средство<sup>63</sup>.

Вполне возможно, что никакого дополнительного объяснения сужения значения понятия «интерес» не требуется, вполне достаточно того, что начало экономического роста сделало цель «увеличения своего имущества» реальной возможностью для все большего числа людей<sup>64</sup>.

Теперь ясно, что когда интересы людей стали противопоставляться их страстям, эта оппозиция могла принимать самое разное звучание в зависимости от того, понимались ли интересы в широком или в узком смысле. Максима, подобная максиме «интересы не лгут», изначально обозначала призыв преследовать все свои цели упорядоченным и рациональным образом; она призывала включить элемент калькулирующей эффективности, равно как и благо-

---

63. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007. С. 350.

64. Слово «коррупция» имеет схожую семантическую траекторию. В работах Макиавелли, который заимствовал данное понятие у Полибия, *corruzione* обозначало ухудшение качества правления вне зависимости от тех причин, которые его вызывали. Это понятие в широком смысле все еще использовалось в Англии XVIII века, хотя примерно в то же время оно начало сливаться со словом «взяточничество». В конечном счете денежное значение практически полностью вытеснило неденежное. То же самое произошло и с понятием «форуна» (*fortune*), которое Адам Смит в только что процитированном отрывке использует в узком денежном смысле в противовес более богатому смыслом слову *fortuna* из работ Макиавелли. См.: J. G. A. Pocock. Machiavelli, Harrington, and English Political Ideologies in the Eighteenth Century // William and Mary Quarterly. Vol. 22. Oct. 1965. P. 568–571; Pocock. The Machiavellian Moment. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1975. P. 405.



разумия, в поведение человека, какой бы на самом деле ни была страсть, приводившая данную калькуляцию в действие. Но в силу только что обозначенного семантического поворота понятия «интерес» оппозиция между интересами и страстями могла также означать или передавать и совсем другую мысль, куда более скандальную с точки зрения традиционных ценностей: мысль о том, что *один набор страстей, в который входит жадность, алчность или любовь к наживе, может быть полезным образом использован для обуздания таких страстей, как амбиции, похоть власти или половая похоть, и борьбы с ними.*

Таким образом, в этот момент появляется возможность проложить мосты между развившейся ранее идеей уравновешивания страстей и доктриной интереса. Обе доктрины восходят в своих истоках к Макиавелли, однако конечный результат — возведение алчности в ранг привилегированной страсти, призванной выполнить основную работу по усмирению других страстей и содействию тем самым задачам государственного управления, — вполне мог бы привести его в ярость. В хорошо известном письме к своему другу Франческо Веттори Макиавелли не оставил никаких сомнений в том, что экономика и политика, по его мнению, относятся к двум совершенно разным областям:

Фортуна распорядилась так, что я, не имея ни малейшего представления, например, ни об искусстве шелка, ни об искусстве шерсти, ни о прибылях и убытках, оказался приспособлен для того, чтобы размышлять о государстве<sup>65</sup>.

---

65. Письмо от 9 апреля 1513 года. *Niccolo Machiavelli. Opere.* Milan: Ricciardi, 1963. P. 1100.

Что верно для Макиавелли, то было верно и для многих других творцов важных соединительных цепочек рассматриваемого здесь мышления. В общем и целом данная история есть прекрасная иллюстрация того, что непреднамеренные последствия вытекают из человеческой мысли (в частности, из той формы, которую ей придает язык) не реже, чем из человеческих действий. В многочисленных трактатах о страстях, появившихся в XVII веке, не может быть обнаружено ни малейшего изменения: в оценке алчности как «наиболее порочной из всех страстей» или же в ее позиции как самого смертного из всех смертных грехов. В этом смысле мало что изменилось по сравнению с концом Средневековья, когда данная точка зрения считалась бесспорной<sup>66</sup>. Однако как только стяжательство оказалось переименовано в «интерес», как только оно под этой маской было введено в обсуждение с целью борьбы с прочими страстями, оно тут же получило шумное одобрение, на него тут же была возложена задача по обузданию тех страстей, которые в течение очень долгого времени считались куда менее предосудительными. Для осмысления подобной трансформации простого указания на то, что новый, сравнительно более нейтральный и бесцветный термин позволил снять или оттенить бесчестие, ассоциируемое с прежним понятием, явно недостаточно. Более обоснованное объяснение мо-

---

66. Обзор французской литературы XVII века см.: *F. E. Sutcliffe. Guez de Balzac et son temps — littérature et politique. Paris: Nizet, 1959. P. 120–131.* Об изменении значимости алчности в средневековом перечне смертных грехов см.: *Morton Bloomfield. The Seven Deadly Sins. East Lansing, Mich.: Michigan State College Press, 1954. P. 95.*

жет быть получено, если удастся показать, что понятие «интересы» несло в себе — и тем самым наложило свой отпечаток на стяжательство — *позитивные* и *целебные* коннотации, отсылающие к идее более просвещенного ведения дел, как частных, так и государственных.

## Интерес как новая парадигма

Идея существования оппозиции между интересами и страстями впервые появилась, насколько я могу судить, в указанной выше работе Рогана, которая была целиком посвящена вопросам, связанным с государями и государственными деятелями. В последующие десятилетия данная дихотомия рассматривалась целым рядом английских и французских писателей применительно к человеческому поведению в целом.

Поводом для начала дискуссии стал феномен, хорошо известный в интеллектуальной истории: как только идея интереса возникла, она стала модным увлечением, равно как и парадигмой (в духе Куна), — большая часть человеческого поведения внезапно начала объясняться через себялюбие, порой это доходило до тавтологии. Ларошфуко растворил в себялюбии не только страсти, но и почти все добродетели, в Англии Гоббс осуществил схожую редукционистскую процедуру. В духе этой тенденции изначальная максима «Интересы не лгут», изначально обладавшая нормативным смыслом, суть которого в том, что интересы должны сначала акку-

ратно вычлениваться, а затем соблюдаться как нечто более важное, чем все прочие возможные способы поведения, вдохновляемые иными мотивами, к концу столетия превратилась в поговорку: «Интересы правят миром»<sup>67</sup>. Одержимость интересом как ключом к пониманию человеческого действия сохранялась и в XVIII веке, когда Гельвеций, вопреки своему превознесению страстей, все же провозгласил:

Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса<sup>68</sup>.

Как это часто происходит с концептами, которые внезапно оказываются в самом центре внимания, — класс, элита, экономическое развитие, если взять несколько последних примеров, — интерес стал казаться чем-то настолько самоочевидным, что никто даже не пытался дать ему более четкое определение. Точно так же никто даже не пытался объяснить то место, которое он занимает в отношении двух других категорий, господствовавших в объяснении человеческой мотивации со времен Платона: с одной стороны страсти, с другой — разум. Однако именно на фоне этой традиционной дихотомии можно понять возникновение рассматриваемой здесь третьей категории в конце XVI — начале XVII века. Как только страсть была признана чем-то деструктивным, а разум — бесплодным, позиция, согласно которой человеческое действие может быть исчерпывающим образом описано через

---

67. *Gunn. Interest. P. 559. N. 37.*

68. *Гельвеций К. А. Об уме // Гельвеций К. А. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 186.*

его отнесение к той или иной категории, начала приобретать чрезвычайно мрачный оттенок. Надежда возлагалась на возможность вклинить интерес между двумя традиционными категориями человеческой мотивации. Интерес рассматривался как то, что берет от этих двух категорий самое лучшее: это страсть себялюбия, возвышенная и сдержанная разумом, и одновременно это разум, которому страсть придает направление и силу. Получившаяся гибридная форма человеческого действия считалась обладающей иммунитетом как от деструктивности страсти, так и от бесплодности разума. Стоит ли удивляться тому, что доктрина интереса в то время была воспринята как долгожданная и достоверная весть о спасении! Конкретные причины подобного успеха доктрины будут детально исследованы в следующем разделе<sup>69</sup>.

Естественно, отнюдь не все были уверены в том, что проблема человеческого поведения отныне решена. Были и те, кто противостоял обольщению со стороны новой доктрины и отвергал ее на корню. Будучи яростным почитателем Бл. Августина, Боссюэ не видел никакой разницы между интере-

---

69. Таким образом, Луис Хартц занимает в целом неисторическую позицию, когда пишет об «унылости либерального видения человека, которое рассматривает его как действующего исключительно исходя из собственного себялюбия», этот пессимистический взгляд на человеческую природу противопоставляется им «унылости феодального видения человека как пригодного лишь для того, чтобы осуществлять над ним внешнее доминирование» (*Louis Hartz. The Liberal Tradition in America. New York: Harcourt, Brace and World, 1955. P. 80.*) Однако изначально идея о том, что человек руководствуется лишь интересом, никак не считалась унылой.

сом и страстью. Он считал, что как «интерес, так и страсть развращают человека», поэтому он предостерегал от искушений королевского двора, этой «империи интересов» и «театра страстей»<sup>70</sup>.

Однако столь негативный настрой был скорее исключением. В целом же критики новой доктрины всего лишь сомневались в том, что интерес в смысле разумного, взвешенного «себялюбия» может стать реальным противовесом страстей. Такой была позиция Спинозы:

Все, конечно, отыскивают свою пользу, но домогаются вещей и считают их полезными отнюдь не вследствие голоса здравого рассудка, но большей частью по увлечению вследствие только страсти и душевных аффектов (которые нисколько не считаются ни с будущим, ни с другими вещами)<sup>71</sup>.

Другие критики отрицали господство интересов не столько по причине всепоглощающего вторжения страстей, сколько в силу неспособности человека до конца осознать свои интересы. Однако здесь имплицитно подразумевается, что состояние, при котором интересы человека будут для него прозрачны и понятны, является весьма завидным. Об этом свидетельствует ироническое замечание маркиза Галифакса:

---

70. *Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte* / ed. J. LeBrun. Geneva: Droz, 1962, p. 24; A. J. Krailsheimer. *Studies in Self-Interest from Descartes to La Bruyère*. Oxford: Clarendon Press, 1962. P. 184.

71. *Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Сочинения в 2 т. Т. 2.* СПб.: Наука, 1999. С. 69.

Если предполагается, что человек должен всегда следовать своим истинным интересам, то это означает производство Всемогущим Богом нового человечества; должна быть новая глина, прежний материал еще никогда не позволял произвести столь непогрешимого существа<sup>72</sup>.

Во Франции кардинал де Рец отдал должное новой доктрине, но не без тонкого предостерегающего психологического замечания о нецелесообразности сбрасывания страстей со счетов:

Самой точной оценки намерений человека можно добиться через изучение его интересов, являющихся основным мотивом для действий. Однако по-настоящему искусный политик никогда не станет полностью отвергать те гипотезы, которые следуют из человеческих страстей, так как страсти порой вполне открыто вторгаются — и почти всегда с оказанием подсознательного влияния — в мотивы, определяющие наиболее важные государственные дела<sup>73</sup>.

---

72. Маркиз Галифакс цит. по: *Raab. The English Face of Machiavelli*. P. 247.

73. *Cardinal de Retz. Mémoires*. Paris: Pléiade, NRF, 1956. P. 1008–1009. В другом месте де Рец делает схожие замечания: «В те времена... в которые нам довелось жить, следует скрещивать склонности людей с их интересами и опираться на это соединение для того, чтобы делать выводы об их возможном поведении» (*Ibid.* P. 984). Потрясающе схожее мнение высказывает Александр Гамильтон, еще один практикующий (и мыслящий) политик: «Хотя нации и управляются в соответствии с тем, что они считают своим интересом, тот, кто не знает, что [благие и неблагие] склонности могут незаметно влиять или исказить понимание своего интереса, должно быть, плохо осведомлен о человеческой природе» (Цит. по: *Gerald Stourzh. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1970. P. 92).

Подобно Спинозе и Галифаксу Рец ощущал, что вторжение страстей превратит мир в менее упорядоченное место, чем если бы этот мир управлялся исключительно интересами. Лабрюйер, писавший пару десятилетий спустя, в целом был согласен с Рецем относительно того веса, который следует приписывать интересам и страстям в качестве детерминант человеческого поведения, при этом он эксплицитно признает существование нового «любовного треугольника»:

Страсть без труда берет верх над рассудком, но она одерживает великую победу, когда ей удастся одолеть своекорыстие<sup>74</sup>.

Примечательно, что Лабрюйер занимает позицию клинической отстраненности; в отличие от процитированных выше мыслителей он не выражает никакого беспокойства относительно возможной победы страстей над интересами.

В XVIII веке тезис об интересе как о чем-то высшем был подвергнут куда более резкой критике. Вот два очень характерных высказывания, одно принадлежит Шефтсбери, другое — епископу Батлеру:

Вы уже слышали расхожее суждение о том, что *интересы правят миром*. Но мне кажется, всякий, кто внимательно присмотрится к положению дел, обнаружит, что *страсть, юмор, каприз, рвение, распри* и тысячи прочих источников, противоположных *себялюбию*, играют не менее значимую роль в функционировании этой машины<sup>75</sup>.

---

74. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.: Художественная литература, 1964. С. 97.

75. Shaftesbury. Characteristicks. P. 76, цит. по: Jacob Viner. The Role



Мы ежедневно видим, что [разумное себялюбие] оказывается отодвинутым на задний план не только более бурными страстями, но также любопытством, стыдом, любовью к подражанию — вообще чем угодно, даже ленью, особенно если этот интерес, временный интерес, являющийся конечным стремлением себялюбия, находится на некоторой дистанции. Ошибки людей, уверенных в том, что ими движут исключительно заинтересованность и себялюбие, просто колоссальны<sup>76</sup>.

Новый акцент, который делается в этих двух цитатах, должен быть проинтерпретирован в свете той значимой перемены в отношении к страстям, которая имела место при переходе от XVII века к XVIII. Вначале страсти рассматривались как нечто сугубо порочное и деструктивное, как то следует из французского катехизиса: «Королевство Франции не является тиранией, то есть поведение суверена в ней не определяется исключительно его страстями»<sup>77</sup>. Однако постепенно к концу XVII века и еще полнее в течение XVIII века страсти оказались реабилитированы, они были признаны сущностью жизни и ее потенциальной креативной силы. Прежде, когда тезис о том, что поведение человека полностью определяется его интересами, критиковался на том основании, что страсти не следует сбрасывать со счетов, критика подразумевала, что мир куда хуже, чем утверждалось в данном суждении. Од-

---

of Providence in the Social Order. Philadelphia: American Philosophical Society, 1972. P. 70.

76. Analogy. P. 121, note.

77. Катехизису 1649 года, цит. по: R. Koebner. Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 14. 1951. P. 293.

нако вместе с реабилитацией страстей в XVIII веке подобная критика начинала подразумевать, что мир, полный страстей, куда *лучше* мира, в котором заправляет исключительно интерес. Совмещение у Шефтсбери и Батлера страстей с такой безобидной и даже полезной эмоцией, как юмор и любопытство, подталкивают нас к признанию правоты подобной интерпретации. Она укоренена в отрицание Просвещением трагического и пессимистического взгляда на человека и общество, который был столь характерен для XVII века. Новый взгляд, согласно которому страсти — это то, что *улучшает* мир, управляемый исключительно интересом, был в полной мере выражен Юмом:

соображения государственного интереса, которые, как принято думать, только и имеют вес в советах монархов, не всегда в конечном счете берут там верх... мотивы более бескорыстные — благодарность, честь, дружба, великодушие — у государей точно так же, как и у частных лиц, нередко способны уравновесить эти эгоистические побуждения<sup>78</sup>.

Естественно, как только смысл слова «интерес» сузился до материальной выгоды, максима о том, что «интересы управляют миром», была просто обязана утратить львиную долю своей притягательности. По сути, она превратилась в горькое сожаление или же в порицание цинизма. В пьесе Шиллера «Пир Валленштейна» герой характерным образом восклицает:

---

78. Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. СПб.: Алетейя, 2001. С. 86.

*Как интересы были призваны уравновесить страсти*

*Denn nur vom Nutzen wird die Welt regiert* / *Ведь в мире правит лишь интерес*<sup>79</sup>.

Очевидно, что это перевод поговорки XVII века, которую Шиллер очень хотел перенести в свою пьесу, посвященную событиям его времени. Единственная проблема заключается в том, что тот уничижительный смысл, который он — в духе идеологических течений XVIII века — вкладывает в данную поговорку, самым разительным образом отличается от того смысла, который она приобрела во времена Валленштейна!

## Достоинства мира, в котором правит интерес: предсказуемость и постоянство

Вера в то, что интерес — это доминирующий мотив человеческого поведения, привела к значительному интеллектуальному воодушевлению: наконец-то был обнаружен реалистический фундамент, на котором может быть выстроен жизнеспособный социальный порядок. Однако мир, управляемый интересом, предполагал не просто отход от чрезвычайно требовательных моделей государства, которых «никто никогда не видел и о существовании которых никто ни-

---

79. Шиллер Ф. Пир Валленштейна. Акт I. Сцена 6. Строка 37. Смысл поговорки меняется во многом благодаря использованию этого слова *nutz*, то есть *лишь*.

когда не знал»; считалось, что он имеет целый ряд собственных специфических достоинств.

Наиболее очевидным из этих достоинств была *предсказуемость*. Макиавелли показал, что из предпосылки о единой природе человека могут быть сделаны очень веские выводы, касающиеся политики<sup>80</sup>. Однако его диагноз был слишком пессимистичным для того, чтобы стать общераспространенным: обратите внимание на откровенно экстремальную формулировку из 17-й главы «Государя», согласно которой люди «неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману... их отпугивает опасность и влечет нажива». Идея о том, что людьми движут только их интересы, могла получить большее признание, а то неприятное послевкусие, которое данная идея оставляла, было рассеяно утешающей мыслью о том, что подобный мир может стать гораздо более предсказуемым. Pamфлет «Интерес не лжет» отчетливо указывает на данный аспект:

Если можешь понять, в чем заключается интерес человека в каждой конкретной игре, то тогда ты можешь точно знать, будет ли человек благоразумен, какова именно его роль в этой игре, то есть как именно следует толковать его намерения<sup>81</sup>.

Схожие идеи могут быть обнаружены в литературе времен после Реставрации, ратующей за религиозную терпимость. Как гласит один трактат:

---

80. *Felix Gilbert. Machiavelli and Guicciardini. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1965. P. 157.*

81. *Gunn. Interest. P. 557.*

...делать предположения о поведении толп, противоречащие их интересам, — значит устранять из людских дел всякую определенность<sup>82</sup>.

Позднее сэр Джеймс Стюарт использовал схожие аргументы для обоснования позиции, согласно которой индивидуальное поведение, управляемое себялюбием, предпочтительней не только главенства страстей, но даже добродетельного поведения, особенно в том, что касается соблюдения общественного интереса «управляемых»:

Если бы чудеса случались каждый день, то тогда законы природы перестали бы быть законами: если бы все действовали в интересах общего блага и пренебрегали бы собой, то тогда государственный деятель утратил бы способность к ориентированию...

...стань люди полностью незаинтересованными, не будет никакой возможности управлять ими. Ведь каждый может считать, что интерес его страны заключается в чем-то своем, многие могут полностью разрушить ее в своем стремлении развить все ее преимущества<sup>83</sup>.

Таким образом, с одной стороны, если человек преследует собственный интерес, то он будет чувствовать себя хорошо, так как интерес по определению «не обманет и не подведет»<sup>84</sup> — таков общий смысл расхожего высказывания. С другой стороны,

---

82. *Gunn. Politics. P. 160.*

83. *James Stuart. Inquiry into the Principles of Political Oeconomy / ed. A. S. Skinner. Chicago: University of Chicago Press, 1966. Vol. I. P. 143–144.*

84. *Charles Herle. Wisdomes Tripos... London, 1655, цит. no: Gunn. Interest. P. 557.*

для окружающих есть все преимущества в том, что этот человек преследует свой собственный интерес, тем самым его действия становятся прозрачными и предсказуемыми, как если бы он был полностью добродетельным человеком. Соответственно, в политике задолго до того, как это стало догмой в экономике, интерес стал мыслиться как основа взаимовыгодного существования.

Однако с понятием «интерес» был связан и целый ряд трудностей. Так, например, примерно в то же время было выдвинуто вполне современное возражение о том, что именно непредсказуемость — лучшая власть. Сэмюэль Батлер полностью разделял учение об интересе, но все же был уверен, что глупые и недееспособные люди у власти

имеют по крайней мере одно преимущество перед теми, кто умнее. И это преимущество нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, что ни один человек не способен ни догадаться, ни заранее представить, какую именно стратегию изберет человек, когда по его интересам невозможно предвидеть то, что у более мудрых людей всегда разумно спланировано<sup>85</sup>.

Более весомое возражение против самой возможности взаимной выгоды в ситуации, когда все стороны планомерно преследуют свои интересы, выводилось из того факта, что в международной политике интересы основных сторон зачастую находятся в прямой противоположности друг к другу. То обстоятельство, что интересы одной державы являют-

---

85. Samuel Butler. *Characters and Passages from Notebooks* / ed. A. R. Waller. Cambridge: University Press, 1908. P. 394; также см.: Gunn. *Interest*. P. 558–559.

ся зеркальным отражением интересов ее основного конкурента, было со скрупулезной дотошностью показано Роганом на примере Франции и Испании. Однако даже в этом случае предполагалось, что обе партии смогут выиграть от соблюдения определенных правил игры, а также за счет устранения «страстей», подразумеваемого рациональным преследованием собственных интересов.

Вероятность общего выигрыша стала считаться более высокой в тот момент, когда доктрина была применена к внутренней политике. Подобно самому понятию «интерес», понятие *баланса* интересов в Англии было перенесено из своего изначального контекста, относящегося к искусству управления государством, где оно дало концепцию «баланса ветвей власти», и помещено в контексте исполненной конфликтами внутренней политики. После Реставрации и во время споров о религиозной терпимости было очень много дискуссий относительно тех преимуществ для интересов общества, которые может дать наличие множества интересов и существование определенного напряжения между ними<sup>86</sup>.

Однако те преимущества, которые могут быть получены благодаря предсказуемости человеческого поведения, основанного на интересе, стали казаться все более заманчивыми в тот момент, когда данное понятие начало использоваться в связи с экономической деятельностью индивидов. Хотя бы по причине большого числа акторов противоположность интересов, вовлеченных в торговлю, просто не могла быть столь же тотальной, столь же бросающейся

---

86. *Gunn. Politics. Ch. IV.*

в глаза, столь же угрожающей, что и противоположность двух соседствующих государств или же нескольких конкурирующих политических или конфессиональных групп внутри государства. Побочным продуктом действующих в соответствии со своими экономическими интересами индивидов оказывался не *непростой* баланс, но прочная *сеть* взаимосвязанных отношений. Поэтому ожидалось, что расширение внутренней торговли может привести к созданию более прочных сообществ, тогда как внешняя торговля позволит избежать войн между ними.

Здесь можно сделать краткую ремарку касательно историографии экономических учений. В работах, посвященных меркантилистской доктрине, часто пишут, что экономическое мышление до Юма и Адама Смита рассматривало торговлю как в строгом смысле игру с нулевой суммой, когда прибыль отходит стране, в которой экспорт превышает импорт, тогда как другая страна несет соответствующие убытки. Однако всякий, кто проанализирует размышления о коммерции и торговле из сочинений XVII и XVIII веков, кто не будет ограничивать себя исключительно дискуссиями, касающимися торгового баланса, тот сможет сделать вывод о том, что всюду от расширения торговли ожидалось множество самых различных благоприятных следствий. И многие из этих следствий должны были быть политическими, социальными и даже нравственными, то есть не совсем экономическими. Некоторые следствия получают свое рассмотрение в нижеследующих разделах данной работы.

Предсказуемость в ее наиболее элементарной форме — это постоянство, и именно это качество стало самой важной причиной для приятия мира,



в котором правит интерес. Все время подчеркивался изменчивый, непостоянный характер поведения, определяемого страстями, он считался одним из наиболее спорных и опасных черт такого поведения. Страсти считались чем-то «разнородным» (Гоббс), капризным, мимолетным и одновременно неизбывным. Согласно Спинозе

люди могут быть различны по своей природе постольку, поскольку они волнуются аффектами... в этом отношении даже один и тот же человек бывает изменчив и непостоянен<sup>87</sup>.

*Непостоянство* стало считаться основной трудностью для создания жизнеспособного социального порядка после того, как крайний пессимизм относительно человеческой природы (и относительно возникающего в результате «естественного состояния») Гоббса и Макиавелли во второй половине XVII века уступил более умеренным взглядам. Одна из основных доктрин общественного договора XVII века, доктрина Пуфендорфа, все еще на манер Гоббса отсылала к «ненасытному желанию и амбиции» человека, однако она основывала желание договора на людском непостоянстве и ненадежности, на том факте, что «типичное отношение одного человека к другому — это отношение „непостоянного друга“»<sup>88</sup>.

Локк, признававший влияние Пуфендорфа на свою политическую мысль, в основных моментах

---

87. Спиноза Б. *Этика* // Спиноза Б. *Сочинения* в 2 т. Т.1. СПб.: Наука, 1999. С. 415.

88. См.: Leonard Krieger. *The Politics of Discretion: Pufendorf and the Acceptance of Natural Law*. Chicago: Chicago University Press, 1965. P. 119.

разделял это учение<sup>89</sup>. Локк рисовал естественное состояние если не «идиллическим», как отмечают некоторые критики, то как минимум непримитивным — с частной собственностью, наследованием, коммерцией и даже деньгами. Однако именно в силу этого странно «развитого» характера локковского «естественного состояния» возникла нужда в том, чтобы придать ему прочность посредством соглашения, которое бы гарантировало постоянство достигнутого. Договор Локка предназначен для устранения «неудобств, которым [в естественном состоянии] подвергаются [люди] в результате беспорядочного и ненадежного применения власти, которой обладает каждый человек для наказания проступков других»<sup>90</sup>. В другом месте Локк утверждает, что «свобода людей в условиях существования системы правления» заключается в том, чтобы «не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека»<sup>91</sup>. Неопределенность в целом и человеческое непостоянство в частности становятся главным врагом, который должен быть побежден. Хотя Локк и не апеллирует к интересу как инструменту сдерживания непостоянства, между тем сообществом, которое он пытается соорудить, и образом мира, управляемого интересом, возникшим в XVII веке, существует очень много общего. Ожидалось, что в преследовании своих инте-

---

89. *Peter Laslett*. Introduction // *John Locke. Two Treatises of Government* / ed. Laslett. Cambridge: University Press, 2nd edn. 1967. P. 74.

90. *Локк Дж. Два трактата о правлении* // *Локк Дж. Сочинения* в 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 335.

91. Там же. С. 274–275.

ресов люди проявят твердость, прямолинейность и методичность, что было прямо противоположно стереотипному поведению людей, сбитых и ослепленных собственными страстями.

Данный аспект помимо всего прочего помогает понять конечное отождествление интереса в его начальном широком смысле с одной конкретной страстью: любовью к деньгам. По общему мнению, данную страсть отличало именно постоянство, упрямство и каждодневное тождество людей по отношению друг к другу. В одном из своих эссе Юм называет алчность — даже не удосуживаясь представить ее в виде «интереса» — «упрямой страстью»<sup>92</sup>, в другом эссе он пишет:

Алчность, или жажда наживы — это универсальная страсть, которая действует все время, повсюду и у всех людей<sup>93</sup>.

В «Трактате» Юм намеренно противопоставляет «любовь к стяжанию», которая характеризуется как «вечная» и «всеобщая», другим страстям, таким как зависть и мстительность, которые «проявляются лишь время от времени и направлены против единичных лиц»<sup>94</sup>. Другое восхваление алчности может

---

92. *Hume. Essays. Vol. I. P. 160.*

93. *Hume. Essays Moral, Political, and Literary / ed. T. H. Green and T. H. Grose. London: Longmans, 1898. Vol. I. P. 176.* Сравните данную цитату с описанием любви в другом эссе Юма: «Любовь — это беспокойная и непоседливая страсть, исполненная капризов и перемен: возникая мгновенно из воздуха, из ничего, она также мгновенно исчезает как бы по мановению руки» (р. 238).

94. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 532. Это сравнение делается

быть обнаружено у Сэмюэля Джонсона в его повести «Расселас», в ней абиссинский принц так описывает свою порабощенность:

Я перестал считать свои условия кошмаром, как только обнаружил, что арабы ценят страны только ввиду их богатства. Алчность — это универсальный и послушный порок; прочие интеллектуальные расстройства разнятся в зависимости от конституций ума; тот, кто уймет гордость одного, заденет гордость другого, но для жадных людей есть готовый рецепт: несите деньги — и вам все будет позволено<sup>95</sup>.

Монтескье указывал на примечательное постоянство и устойчивость страсти к накоплению:

Один род торговли ведет к другому: мелочный к среднему, последний к крупному; поэтому тот, кто так сильно желал малой прибыли, оказывается в положении, в котором он не менее сильно желает крупной наживы<sup>96</sup>.

В данном отрывке Монтескье поражен тому, что деньги оказываются исключением из того, что в современной экономической науке принято называть законом убывающей предельной полезности. Около ста лет назад немецкий социолог Ге-

---

в контексте рассмотрения Юмом вопроса о существовании гражданского общества. Первоначально сила и универсальность любви к стяжанию представляются как угроза обществу. Однако затем Юм показывает, как эту угрозу можно предотвратить, исходя из того, что «аффект этот гораздо лучше удовлетворяется, если его сдерживать» (Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 533). См. выше.

95. *Samuel Johnson*. The History of Rasselas, Prince of Abissinia. Ch. 39.

96. *Монтескье Ш. Л.* О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 283.

орг Зиммель сделал ряд разъясняющих комментариев по данному вопросу. Как указывает Зиммель, обычно исполнение человеческого желания подразумевает самое тесное знакомство со всеми гранями желаемого объекта или опыта, а это знакомство приводит к хорошо известному диссонансу между желанием и его исполнением. Чаще всего этот диссонанс принимает форму разочарования. Однако желание любой конкретной суммы денег, как только оно удовлетворяется, оказывается потрясающим образом защищено от подобного разочарования *при условии, что деньги не тратятся на вещи, а их накопление становится самоцелью*, так как «будучи вещью, абсолютно лишенной качеств, [деньги] не могут скрывать ни удивления, ни разочарования, в отличие от любого другого объекта, каким бы жалким он ни был»<sup>97</sup>. Психологическое объяснение Зиммеля вполне могло бы показаться убедительным Юму, Монтескье и д-ру Джонсону, которые явно были заинтригованы постоянством любви к деньгам, что являлось очень необычным качеством для страсти.

Ненасытность *auri sacra fames* («злата проклятая страсть») нередко рассматривалась в качестве самой опасной и предосудительной грани данной страсти. В результате странной инверсии, вызванной увлеченностью послегоббсовской мысли непостоянством человека, эта самая ненасытность стала добродетелью именно потому, что она подразумевала постоянство. Тем не менее для того, чтобы столь радикальная перемена в оценке могла укрепиться и дезавуировать глубоко засевшие мыслительные

---

97. *Georg Simmel. Philosophie des Geldes. Leipzig: Duncker and Humblot, 1900. S. 232.*

схемы, необходимо было просто наделить данное «своевольное» желание наживы дополнительным качеством — безобидностью.

## Стяжательство и коммерция как нечто невинное и *doux*

Осознание характерного постоянства «заинтересованного аффекта» (Юм) вполне может заставить современного читателя насторожиться: он тут же начнет прикидывать вероятность того, что столь могущественная страсть начнет сметать все на своем пути. Данная реакция получила свое наиболее сильное и известное проявление столетие спустя в «Коммунистическом манифесте». Но некоторые нотки алармизма звучали уже в Англии начала XVII века, в которой банковский кризис 1710 года, пузырь Южных морей 1720 года и широкомасштабная политическая коррупция времен Уолпола породили беспокойство, как бы старый порядок не был подорван деньгами. Болингброк, соперник Уолпола из партии тори, сделал несколько выпадов против биржевых маклеров и могущественных *nouveaux riches* своего времени; в своей газете *The Craftsman* он даже объявил, что деньги приводят к «более устойчивым связям, чем честь, дружба, отношения, кровное родство или даже единство чувств»<sup>98</sup>. Однако

---

98. Цит. по: *Isaac Kramnick. Bolingbroke and his Circle: The Politics of Nostalgia in the Age of Walpole. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968. P. 73; см. главу III, в которой Болингброк*

подобные настроения приобрели некоторую идеологическую значимость лишь во второй половине столетия среди шотландских писателей, в особенности Адама Фергюсона, а во Франции вместе с Мабли и Морелли. На протяжении большей части столетия, как в Англии, так и во Франции, доминирующей оценкой «стяжательства» было одобрение, пусть даже и несколько высокомерное, как в только что процитированном отрывке из «Расселаса» («...арабы ценят страны *только* ввиду их богатства»).

Д-р Джонсон сделал схожую знаменитую и в нашем контексте особенно ценную ремарку:

Самый невинный способ ангажировать человека — ангажировать его за деньги<sup>99</sup>.

Данная эпиграмма высвечивает еще одно отношение, в котором мотивированное интересом поведение и стяжательство начали рассматриваться как нечто высшее по сравнению с обычным поведе-

---

представляется как один из первых политиков-«популистов». Однако Крамник, похоже, преувеличивает — в конце третьей главы ему приходится опираться на Юма для того, чтобы выдвинуть свои наиболее громкие обвинения в адрес некоторых из финансовых инноваций того времени. Несколько иной взгляд на борьбу Болинброка см.: *Quentin Skinner. The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke versus Walpole* // ed. Neil McKendrick. *Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society in Honour of J. H. Plumb*. London: Europa, 1974. P. 93–218; также см.: *J. G. A. Pocock. Machiavelli*. P. 577–578. Поукок утверждает, что Болинброк заботился о росте рынков куда меньше, чем о росте власти, которую могли получить королевский двор и премьер-министр в результате увеличения количества финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении.

99. Boswell's Life of Johnson. New York: Oxford University Press, 1933. Vol. I. P. 567. March 27, 1775.

нием, движимым страстями. Страсти дики и опасны, тогда как преследование собственных материальных интересов есть нечто безобидное и, как бы выразились сегодня, безопасное. Это не очень известный, но все же показательный компонент того комплекса идей, который здесь рассматривается.

Оценка торговых и коммерческих устремлений как безобидных и безвредных может быть истолкована как косвенное следствие долговременного доминирования аристократического идеала. Когда вера в этот идеал была сильно подорвана, а «герой» — «повержен», издавна пользовавшийся дурной репутацией торговец не получил соответствующего прироста престижа: представления о том, что он хитер, грязен и скучен, еще долго нависали над ним тенью.

Высказывались сомнения также и в том, что коммерция эффективна даже в смысле декларируемых ею целей стяжания денег — уже к середине XVIII века это сомнение было озвучено Вовенаргом в удивительной максиме: «Интерес не многих сделал богатыми»<sup>100</sup>. Представление, будто бы «человек, обладающий соответствующими качествами, участвуя в сражениях, приобретает богатство гораздо более почетным и *быстрым* образом, чем менее выдающийся человек — трудом», считалось основным убеждением испанцев, возникших из Реконкисты<sup>101</sup>, но данная идея быстро получила повсеместное распространение. Само презрение, которое окружало экономическую деятельность, вело к убеждению в том, что, несмотря на многочисленные свидетельства обрат-

---

100. *Vauvenargues. Réflexions et maximes // Vauvenargues. Oeuvres.* Paris: Cité des livres, 1929. Vol. II. P. 151.

101. *Salvador de Madariaga. The Fall of the Spanish-American Empire.* London: Hollis and Carter, 1947. P. 7. Курсив добавлен.



ного, коммерция не имеет никакого потенциала ни в одной из сфер человеческой деятельности, что она не способна породить ни добра, ни зла в сколько-нибудь значимых масштабах. В ту эпоху, когда люди искали способы ограничения ущерба и ужасов, причиняемых друг другу, на коммерческую и экономическую деятельность начинали смотреть более благосклонно, но отнюдь не по причине улучшения оценки подобного рода деятельности; наоборот, любые реверансы в ее сторону выражали желание отдохнуть от (разрушительного) величия, это было то же самое презрение, но только в других формах. В каком-то смысле триумф капитализма, равно как и многих других современных тиранов, связан с повсеместным нежеланием принимать его всерьез, верить в его способность реализовывать великие задумки и иметь реальные достижения. Это нежелание сквозит в замечании д-ра Джонсона.

Эпиграмма Джонсона относительно безобидности «стяжательства» имела своего двойника во Франции. Схожее понятие «невинный» может быть обнаружено в качестве характеристики коммерческой деятельности в преамбуле к эдикту 1669 года, декларировавшему принцип совместимости морской торговли с дворянством:

Ввиду того что торговля — это плодородный источник, приносящий государству изобилие и распространяющий данное изобилие среди его подданных... а также ввиду того, что ни один другой способ получения богатств не является более невинным и более легитимным...<sup>102</sup>

---

102. Цит. по: *François de Forbonnais. Recherches et considerations sur les finances de France, depuis l'année 1595 jusqu'à l'année 1721.* Basle, 1758. Vol. I. P. 436.

Впоследствии получило хождение еще одно, даже более странное понятие. Начиная с конца XVII века и далее, начались разговоры о *douceur* коммерции. Данное слово очень трудно перевести на какие-то другие языки (например, выражение *la douce France*); оно выражает сладость, мягкость, спокойствие, галантность и является антонимом слова «насилие». Первое упоминание этого слова в связи с коммерцией было обнаружено мной у Жака Савари в *Le parfait négociant* («Совершенный негодциант»), учебнике для торговцев XVII века:

[Божественное провидение] распорядилось так, чтобы все нужное для жизни не скапливалось в одном и том же месте. Оно рассылило свои дары так, чтобы люди торговали и чтобы взаимная нужда заставила их помогать друг другу, позволила бы им установить узы дружбы. *Постоянный обмен благами жизни составляет торговлю, а торговля обеспечивает сладость (douceur) жизни...*<sup>103</sup>

Данный отрывок начинается с идеи «благоприятного участия провидения в международной торговле», которую Якоб Винер прослеживает вплоть до IV века н. э.<sup>104</sup> Однако последнее предложение, касающееся *douceur*, относится именно к духу той эпохи, в которую данное предложение было написано.

Самым влиятельным сторонником доктрины *doux commerce* был Монтескье. В открывающей главе той части работы «О духе законов», в которой речь идет об экономических вопросах, он пишет:

---

103. *Jacques Savary. Le parfait négociant, ou Instruction générale de tout ce qui regarde le commerce. Paris, 1675. P. 1* (курсив в оригинале).

104. *Viner. Providence. P. 36ff.*

*Как интересы были призваны уравновесить страсти*

Можно считать почти общим правилом, что везде, где нравы кротки (*moeurs douces*), там есть и торговля, и везде, где есть торговля, там и нравы кротки<sup>105</sup>.

Далее в той же главе Монтескье повторяет:

Торговля... шлифует и смягчает (*adoucit*) варварские нравы: это мы видим ежедневно<sup>106</sup>.

Из позиции Монтескье так до конца и не ясно, является ли искомый смягчающий эффект торговли следствием тех изменений, которые коммерция производит в людях, вовлеченных в коммерческую деятельность, или же она преобразует всех тех, кто использует или потребляет блага, становящиеся доступными благодаря коммерции. В любом случае данное слово в его самом широком значении сделало себе очень успешную карьеру в том числе и за пределами Франции. Двадцать один год спустя после публикации работы Монтескье только что процитированную фразу можно обнаружить практически дословно в работе шотландского историка Уильяма Робертсона, который в работе «Взгляд на прогресс общества в Европе» (1769) пишет:

Торговля устраняет те предрассудки, которые поддерживают различия и враждебность народов. Она шлифует и смягчает нравы людей<sup>107</sup>.

---

105. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 280.

106. Там же.

107. William Robertson. History of the Reign of the Emperor Charles V. Chicago, Il.: University of Chicago Press, 1972. P. 67. В «Доказательствах и иллюстрациях», прилагаемых к данному эссе, Робертсон отсылает к введению, написанному Монтескье для той части своей работы «О духе законов», которая

Выражение «отшлифованная нация» как противовес нации «грубой и варварской» получило всеобщее хождение в Англии и Шотландии ближе ко второй половине XVIII века. Оно обозначало страны Западной Европы, растущее благосостояние которых со всей очевидностью связывалось с экспансией коммерции. Термин «отшлифованный» вполне мог быть избран в силу его близости к *adouci*: в этом смысле тезис о *douceur* как неотъемлемом атрибуте коммерции вполне может считаться предвестником дихотомий, известных как «продвинутый — отсталый», «развитый — неразвитый» и т. д.

Скорее всего, истоки эпитета *doux* следует искать в «некоммерческих» смыслах коммерции: данное слово помимо торговли издавна обозначало оживленную, повторяющуюся беседу, а также прочие формы вежливого социального взаимодействия и сотрудничества между людьми (зачастую между двумя людьми противоположного пола)<sup>108</sup>. Именно с таким подтекстом термин *doux* нередко использовался в сочетании со словом «коммерция». Например, внутренние правила парижского коллежа, выпущенные в 1769 году, содержали следующее положение:

Так как после выпуска из коллежа им предстоит жить в обществе, ученики уже с самого начала должны обучаться практике вежливого, простого и честного взаимодействия (*un commerce doux, aisé et honnête*)<sup>109</sup>.

---

касается торговли (p. 165), но не к той фразе, которую он из нее заимствует для собственного издания.

108. Это верно как для английского, так и для французского языков. См.: Oxford English Dictionary.

109. *Règlement intérieur du Collège Louis-le-Grand*. 1769. P. 36. Данный документ был выставлен под номером 163 в рам-

Таким образом, данное понятие, войдя в «торговый» словооборот, внесло в него целый новый пласт смыслов, отсылавших к вежливости, безукоризненности манер, а также полезному поведению в целом. И все же выражение *le doux commerce* потрясает нас как странная аберрация для эпохи, когда работоторговля достигала своего апогея, а торговля в целом все еще оставалась рискованным предприятием, полным приключений и нередко насилия<sup>110</sup>. Столетие спустя данное выражение было умело высмеяно Марксом, который, апеллируя к первоначальному накоплению капитала, вспоминает некоторые наиболее жестокие эпизоды из истории европейской коммерческой экспансии, а затем саркастически восклицает: «Вот она, *doux commerce* [невинная торговля]!»<sup>111</sup>

Образ торговца как *doux*, как мирного и безобидного малого вполне мог возникать на контрасте

---

ках Выставки повседневной жизни Парижа XVIII века: Archives Nationales. Paris, summer 1974.

110. Савари, прекрасно осведомленный о реалиях торговли и обмена, был готов мириться с рабством на том основании, что «культивирование табака, сахара и индигоносных растений... едва ли не дает [рабам] никаких преимуществ», так как «знание истинного Бога и христианской религии предоставляется им в качестве компенсации за утрату свободы» (цит. по: *E. Levasseur. Histoire du commerce de la France. Paris: A. Rousseau, 1911. Vol. I. P. 302*).

111. *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 762*. Данное выражение было предметом дружеских шуток между Марксом и Энгельсом. Когда последний в 1869 году все-таки оборвал все связи с текстильным производством своих родителей для того, чтобы целиком посвятить себя социалистическому движению, он написал Марксу: «Ура! Сегодня покончено с милой коммерцией, и я — свободный человек» (*Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 32. С. 263*).

с мародерствующими армиями и пиратами-убийцами тех лет. Однако во Франции даже в большей степени, чем в Англии, это могло быть связано с теми линзами, сквозь которые люди взирали на различные социальные группы: всякий, кто не принадлежал к дворянству, *по определению* не мог быть причастным ни к героическим добродетелям, ни к сильным страстям. В конечном счете подобный человек ориентировался только на интересы, но никак не на славу, и каждый знал, что подобный ориентир просто обязан быть *doux* в сравнении со страстными увлечениями и буйными похождениями аристократии.

## Стяжательство как спокойная страсть

В XVIII веке позитивное отношение к экономической деятельности было поддержано новыми идеологическими течениями. Пусть данное отношение и было укоренено в пессимистическое видение человеческой природы, характерное для XVII века, оно прекрасно пережило резкие нападки на эти взгляды, которые были предприняты в последующем столетии.

Прежние воззрения на интересы и страсти были подвергнуты критике по целому ряду направлений. Одни были уверены — мы уже отмечали это, — что предпосылка, согласно которой человек полностью управляется своими интересами и себялюбием, является в высшей степени спорной. В то же время

был введен целый ряд новых классификаций страстей с целью представить некоторые из них более безобидными — если не совершенно полезными — по сравнению со всеми прочими. В этом смысле противопоставление благоприятных и порочных страстей (целый ряд стяжательских наклонностей попали в список первых) в XVIII веке, особенно в Англии, стало эквивалентом оппозиции между интересами и страстями, характерной для XVII века. Однако эти две дихотомии на протяжении достаточно продолжительного времени сосуществовали и пересекались друг с другом.

Новая линия размышлений развивалась так называемой сентименталистской школой английских и шотландских моральных философов от Шефтсбери до Хатчесона и Юма<sup>112</sup>. Это была, прежде всего, их критическая реакция на гоббсовскую мысль. Главным вкладом Шефтсбери в данную интеллектуальную историю была реабилитация или даже новое открытие того, что он называл «естественными аффектами», например, благожелательность или великодушие. Он проводит разделение между их вкладом в частное и общее благо; для него не составляет труда показать, что эти замечательные чувства способствуют как одному, так и другому. Затем Шефтсбери обращается к менее притягательным аффектам или страстям и подразделяет их на «самоаффекты», или «страсти, направлен-

---

112. Хотя Адам Смит и был важным представителем данной школы, его работа «Теория нравственных чувств» никак не касалась того особого разделения, которое Шефтсбери и особенно Хатчесон разбирают во всех подробностях. Точно так же он игнорировал и деление на страсти и интересы; см. ниже.

ные на себя», которые нацелены или могут вести к частному, но не обязательно к общественному благу, и «неестественные аффекты» (бесчеловечность, зависть), которые не способны содействовать ни общественному, ни частному благу. Далее внутри каждой категории он выделяет умеренные и неумеренные аффекты. Очень интересно проследить за тем, как он пытается вписать экономическую деятельность в свою концептуальную схему. Шефтсбери относит ее к категории «страстей, направленных на самого себя», но затем пытается исключить ее оттуда.

Если забота [о накоплении богатства] будет умеренной и разумной, если она окажется не страстным стремлением, то в этом случае в ней нет ничего, что бы не соответствовало добродетели и не было бы уместным и выгодным для общества. Однако если она распалится до настоящей *страсти*, то даже тогда ущерб и увечье, которые она нанесет обществу, не будет большим, чем ущерб и увечье для самого человека, взрастившего эту страсть. Подобный человек превратится в тирана для самого себя, он возведет хулу на себя гораздо большую, чем на человечество<sup>113</sup>.

Очевидно, что стяжательство не укладывается в промежуточную категорию «страстей, направленных на себя»: когда ей потакают умеренно, она становится чем-то вроде «естественного аффекта», способствующего как частному, так и общественному благу. Когда ей потакают сверх меры, она понижается до «неестественного аффекта», который не способствует ни тому, ни другому.

---

113. Shaftesbury. Characteristicks. P. 336.



Фрэнсис Хатчесон упрощает схему Шефтсбери, он выделяет благотворные и эгоистические страсти с одной стороны, и спокойные и бурные «движения воли» — с другой. Среди тех нескольких примеров, которые он использует для иллюстрации своего второго противопоставления, фигурирует также и экономическая деятельность:

...спокойное желание богатства вовлечет человека, пусть и не совсем по его воле, в большие траты, если это будет необходимо для заключения хорошей сделки или выгодного трудоустройства; алчность же будет роптать на подобные траты<sup>114</sup>.

Тем критерием, на основе которого Хатчесон отделяет «спокойное (*calm*) желание богатства» (обратите внимание: слово *calm* — это английский эквивалент французского *doux*) от алчности, является не интенсивность желания, а готовность платить более высокую стоимость ради достижения еще больших благ. Таким образом, спокойное желание — это желание, действующее заодно с расчетом и рациональностью, а значит, являющееся точным эквивалентом того, что в XVII веке было принято понимать под интересом.

Новая терминология сталкивалась с одной небольшой проблемой: тогда как победа интересов над страстями очевидна, вовсе не очевидно то, что спокойные страсти смогут одержать верх в противоборстве со страстями бурными. Юм, который также принимал деление на спокойные и бурные страсти, смотрел на данный вопрос со всем спокойствием и разрешил его одним острым предложением:

---

114. *Francis Hutcheson. A System of Moral Philosophy // Hutcheson. Works. Hildesheim: Georg Olms, 1969. Vol. V. P. 12.*

Мы должны отличать спокойные аффекты от слабых, бурные – от сильных<sup>115</sup>.

В этом смысле все встало на свои места: деятельность, наподобие рационального накопления богатства, вполне могла рассматриваться и неявно одобряться как спокойная страсть, являющаяся одновременно сильной и способной брать верх над целым множеством бурных (но при этом слабых) страстей. Именно этот двойной характер стяжательства подчеркивает Адам Смит в своем хорошо известном определении «желания улучшить наше положение» как «желания, обычно лишенного страстности и спокойного, присущего нам, однако, с рождения и не покидающего нас до могилы»<sup>116</sup>. Особый пример подобной спокойной, но сильной страсти, одерживающей верх над более бурной, Юм приводит в своем эссе «Об интересе»:

Бесспорным следствием любых усердных профессий является то, что любовь к наживе становится сильнее любви к удовольствию<sup>117</sup>.

Еще более экстравагантные утверждения, касающиеся «стяжательства», будут рассмотрены в самом ближайшем будущем. Однако в данный момент тезис Юма можно считать кульминацией прослеживаемой здесь эволюции идей: капитализм приветствуется ведущим философом своего времени, так

---

115. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 461.

116. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 350.

117. Hume. Writings on Economics. P. 53.

*Как интересы были призваны уравновесить страсти*

как он способен активизировать некоторые наиболее благородные человеческие склонности за счет более зловредных, он подавляет и даже атрофирует наиболее деструктивные и наиболее пагубные аспекты человеческой природы.

## Часть II

Как экономическая  
экспансия должна была  
улучшить политический  
порядок

Как кажется, решение раскрепостить и поощрить стяжательство было как итогом долгой линии развития западной мысли, так и важным ингредиентом интеллектуального климата XVII и XVIII столетия. Если тезис о «противопоставлении интересов страстям» не так известен, то отчасти это связано с его вытеснением и замещением эпохальным событием — публикацией в 1776 году работы «Исследование о природе и причинах богатства народов». По причинам, которые будут рассмотрены ниже, Адам Смит, отстаивая принцип неограниченного преследования частной выгоды, отказался от деления на интересы и страсти; он подчеркивал те экономические блага, которые подобное преследование может принести, а не те политические опасности и катастрофы, которых оно позволяет избежать.

Еще одна причина малоизвестности данного тезиса может быть связана с теми трудностями, которые возникают при попытке вычленить его из обрывочных интеллектуальных свидетельств, приведенных в первой части. Опираясь на огромное количество источников, я попытался показать, что данный тезис был частью того, что Майкл Полани называл «неявным измерением», то есть частью тех суждений и мнений, которые разделяются группой и являются настолько очевидными, что

их никогда не рассматривают полностью или систематически. Показательной иллюстрацией верности данной интерпретации является то, что целый ряд ключевых мыслителей, включая, что довольно любопытно, самого Адама Смита, продемонстрировали особые случаи применения или варьирования данной неартикулированной базовой теории. Особенно важный вариант станет предметом моего рассмотрения на нижеследующих страницах.

Как было отмечено ранее, интересующий нас тезис уходит своими корнями в вопросы государственного управления. Считалось, что страсти, в первую очередь нуждающиеся в укрощении, это страсти власть имущих, тех, кто обладает полномочиями, кто может причинять существенный вред и кто в гораздо большей степени склонен потакать своим страстям в сравнении с людьми низшего ранга. В результате самые интересные примеры практического применения данного тезиса показывают, как самодурство, разрушительная жажда славы и в целом страстные эксцессы властителей могут быть ограничены интересами их собственными, равно как и интересами подданных.

Главными представителями подобного строя мысли в XVIII веке следует считать Монтескье во Франции и сэра Джеймса Стюарта в Шотландии. Их основные идеи были развиты Джоном Милларом, другим выдающимся представителем замечательной группы философов, моралистов и обществоведов, в отношении которых нередко используют словосочетание «Шотландское Просвещение». Физиократы и Адам Смит разделяли некоторые из предпосылок и забот Монтескье, а также Стюарта, но предлагаемые ими решения сильно раз-

нились. За исключением физиократов, которые будут рассмотрены в качестве единой идеологической группы, коей они на самом деле и являлись, каждый из данных мыслителей получит отдельное рассмотрение. Так как я собираюсь обратить внимание на те места из их сочинений, которые не получили достаточного внимания и не были в достаточной степени изучены, будет просто необходимо увязать эти отрывки с остальным корпусом их работ. Лишь таким образом удастся задать правильную перспективу, касающуюся содержания и значимости тех взглядов, которые будут проанализированы ниже.

## Элементы доктрины

### *Монтескье*

Монтескье усматривал в торговле множество добродетелей, мы уже рассматривали упоминаемую им связь между расширением торговли и распространением галантности (*douceur*). Культурное влияние торговли, по Монтескье, сопровождается ее политическим влиянием: в центральной политической первой части его работы «О духе законов» он вначале встает на классические республиканские позиции, согласно которым демократия может выжить, лишь если богатство не слишком обильно или же распределено не слишком неравномерно. Однако затем Монтескье делает важное исключение из этого правила — для «демократий, которые основаны на торговле». Он пишет:

Дух торговли влечет за собою дух воздержания, бережливости, умеренности, трудолюбия, благоразумия, спокойствия, порядка и исправности, поэтому, пока этот дух держится, богатства, производимые им, не оказывают никакого дурного влияния<sup>1</sup>.

Первая реакция — искушение вообще отвергнуть это восхищение торговлей, так как оно излишне экстравагантно. Однако затем Монтескье приводит гораздо более детализированное и обоснованное рассуждение, касающееся благоприятных политических следствий коммерции. Этой аргументацией долгое время пренебрегали, поэтому я собираюсь разобрать ее в деталях. Следует отметить, что данная аргументация, в противоположность только что приведенной, не только не ограничивается влиянием торговли на демократию, она имеет силу в том числе и в контексте двух иных форм правления, которые рассматриваются Монтескье на протяжении всей его работы, которые были прекрасно ему знакомы и о которых он все время достаточно плотно размышлял, — монархия и деспотизм.

В четвертой части работы «О духе законов» Монтескье рассматривает торговлю (книги XX и XXI), деньги (книга XXII) и население (книга XXIII). В книге XX он излагает свои соображения касательно целого ряда общих тем, начиная с «духа торговли» и заканчивая целесообразностью позволения дворянству участвовать в торговой деятельности. В книге XXI Монтескье, наоборот, сосредотачивается на одном предмете — на истории морепла-

---

1. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 49.



вания и торговли и старается оставаться настолько близким к фактам, насколько это возможно. Тем более удивительно видеть, как внезапно в той главе своей книги, в которой речь идет о том, «как торговля проложила себе в Европе путь среди варварства», он формулирует общий принцип. Сначала Монтескье описывает, как коммерция сдерживалась запретом на взимание процента Церковью, как затем ее подхватили евреи; как евреи страдали от насилия и постоянных вымогательств со стороны дворянства и королей; и как в конечном счете они решили эту проблему, изобретя векселя (*lettre de change*). В последней части данной главы делаются потрясающие выводы:

...благодаря ему имущество богатейших торговцев принимало неуловимую форму, в которой оно могло переноситься всюду, не оставляя следа нигде... Итак... мы обязаны... корыстолюбия государей изобретением вещи, которая некоторым образом поставила торговлю вне их произвола.

С этого времени государям пришлось проявлять благоразумие, о котором они прежде и не помышляли, так как установленная опытом несостоятельность крутых мер власти (*les grands coups d'autorité*) ясно доказывала, что благоденствие может быть достигнуто только кротким управлением...

Государства начали исцеляться от макиавеллизма и с каждым днем будут все более и более от него избавляться. Во всех решениях должна будет проявляться уже большая умеренность. То, что прежде именовалось чрезвычайными мерами, стало теперь, не говоря об ужасных последствиях подобных действий, просто неблагоприятными поступками.

Глава заканчивается предложением, которое можно признать главным исповеданием данного тезиса:

са. Мы выбрали его в качестве эпиграфа к нашей работе:

Большое счастье для людей — находиться в положении, которое заставляет их быть добрыми ради собственных интересов, в то время как страсти внушают им злобные мысли<sup>2</sup>.

Это поистине масштабное обобщение, основанное на ожидании того, что интересы, то есть торговля и ее производные, например, векселя, позволяют сдерживать страсти и спровоцированные страстями «злобные» действия сильных мира сего. Целый ряд схожих мест из работы Монтескье делают очевидным то, что те идеи, которые он предлагает в книге XXI, были важным компонентом его мышления относительно взаимосвязи между экономикой и политикой<sup>3</sup>. Например, схожая идея высказывается им в последующей книге (XXII) в тот момент, когда он описывает порчу монеты государем. Римские императоры с большим удовольствием прибегали к данной практике и с большой для себя выгодой, но в эпоху современности порча монеты оказывает

---

2. Там же. С. 322.

3. Противопоставление интересов и страстей фигурирует в еще одном месте его работы: «Такой народ будет находиться в постоянно возбужденном состоянии, поэтому он будет более руководствоваться своими страстями, чем доводами рассудка, которые никогда не производят большого действия на умы. В результате лица, управляющие им, легко смогут вовлекать его в дела, противные его истинным интересам» (Там же. С. 275). Данный отрывок взят из знаменитой главы, содержащей весьма симптоматичное и подробное описание Англии без упоминания этой страны по имени. Как и в случае с Лабрюйером (см. выше), разуму здесь отводится роль бессильного члена любовного треугольника, который составляют страсть, разум и интерес.

ся контрпродуктивной ввиду незамедлительных внешнеторговых следствий и арбитражных операций:

Эти насильственные операции невозможны в наше время; государь, который попытался бы к ним прибегнуть, обманул бы только себя самого — и никого больше. Вексельный курс научил банкиров сравнивать между собою монеты всех стран света и определять их действительное достоинство<sup>4</sup>.

Эти две ситуации начинают выглядеть еще более схожими в силу практических идентичных понятий, используемых для обозначения техник, накладывающих ограничения на политиков: *lettre de change* в первом случае и *le change* — во втором. В своих заметках Монтескье отмечает важность векселей — «удивительно, что вексель был придуман столь поздно, ведь нет ничего более полезного в мире»<sup>5</sup>; в работе «О духе законов» он уделяет большое внимание разделению богатства на земли (*fonds de terre*)

---

4. Там же. С. 345.

5. *Montesquieu. Mes pensées. No. 753 // Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, Pléiade edn., 1949. Vol. I. P. 1206.* В то время восхищение векселями, пришедшее на смену подозрительности по отношению к ним в связи с фактом их изобретения иудеями и их возможной связи с ростовщичеством, никоим образом не было необычным. Полвека спустя во время обсуждения Торгового кодекса Наполеона сторонник раздела о векселях воскликнул: «Вексель был изобретен! В истории торговли — это событие, сопоставимое с изобретением компаса или открытием Америки... Он установил свободный движущийся капитал, он облегчил его движение, он создал огромные объемы кредитов. С этого момента для расширения торговли уже больше нет преград, кроме границ самого земного шара». Цит. по: *Henri Lévy-Bruhl. Histoire de la lettre de change en France aux 17e and 18e siècles. Paris: Sirey, 1933. P. 24.*

и движимое имущество (*effets mobiliers*), частью которого являются векселя<sup>6</sup>.

До этого Спиноза также по политическим причинам предлагал схожее деление, подобно Монтескье он высказывался в пользу движимого капитала в сравнении с капиталом недвижимым. В «Политическом трактате» он заходит настолько далеко, что пытается обосновать разумность государственной собственности на всю недвижимость, даже на дома, «если возможно»<sup>7</sup>. Целью запрета на частную собственность было стремление избежать неразрешимых споров, а также неискоренимой зависти: в силу владения частной собственностью, существующей всегда в ограниченных количествах, члены одного и того же сообщества с необходимостью вовлекаются в ситуацию, когда приобретение одного оказывается потерей другого. Таким образом, «благоприятствует... миру и согласию... весьма существенное обстоятельство... что никто из граждан не обладает недвижимостью». В свою очередь торговля и движимое имущество и капитал рассматриваются в абсолютно благоклонном свете: ведь они приводят к умножению дел, «которые или находятся во взаимной зависимости, или предполагают одни и те же условия для своего преуспевания»<sup>8</sup>. Для Спинозы количество денег, которые могут находиться в собственности индивидов, ограничивается только их усилиями, а эти усилия, в свою очередь, приводят к появлению сети взаимных обязательств, которые усиливают узы, скрепляю-

---

6. Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 293.

7. Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Сочинения в 2 т. Т. 2. СПб.: Наука, 1999. С. 274.

8. Там же. С. 284.

щие общество<sup>9</sup>. Как будет показано далее, растущая значимость движимого богатства в сравнении с землями и недвижимостью будет использована как основа для схожих оптимистических политических гипотез не только Спинозой и Монтескье, но также сэром Джеймсом Стюартом и Адамом Смитом.

Необходимо кратко упомянуть про очень разные отношения к росту государственного долга и соответствующему возрастанию количества государственных облигаций или «государственных ценных бумаг». Увеличение этой разновидности движимого богатства рассматривалось скорее как вредоносное, чем как прибыльное целой группой английских и французских авторов, в число которых входили Юм с Монтескье<sup>10</sup>. И хотя в их рассуждениях можно обнаружить элементы доктрины «реальных векселей», увеличение государственного долга критиковалось ими прежде всего по политическим основаниям. Их критика проистекала из той же самой обеспокоенности чрезмерными проявлениями го-

---

9. Ср.: *Alexandre Matheron. Individu et communauté chez Spinoza.* Paris: Minuit, 1969. P.176–178.

10. *Монтескье Ш.-Л.* О духе законов. М.: Мысль, 1999. С.137; в особенности см.: *David Hume. Of Public Credit // David Hume. Writings on Economics / ed. E. Rotwein. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1970. P.90–107.* Именно здесь Юм рисует ужасающую картину того состояния, к которому придет Англия, если позволит государственному долгу бесконтрольно увеличиваться: «Не остается никаких средств противодействия тирании: выборы зависят исключительно от взяток и коррупции: срединная власть между королем и народом оказывается полностью устранена, начинает преобладать самый прискорбный деспотизм». Между Юмом и Монтескье по этому поводу состоялась переписка: см. фрагменты, опубликованные в издании: *David Hume. Writings on Economics.* P.189.

сударственной власти, которые до этого побуждали их к *позитивной* оценке возрастания других типов движимого богатства, таких как, например, векселя. Подобные иные типы богатства приветствовались Монтескье и прочими, поскольку они позволяли ограничить готовность и способность правительства совершать *grands coups d'autorité*. И эта способность и могущество государства в целом могли возрасти только в том случае, если казна получала возможность финансировать свои действия за счет влезания в большие долги. Таким образом, для этих мыслителей было вполне логичным восхваление все более масштабного тиражирования векселей при одновременном осуждении данной практики в области «государственных ценных бумаг».

Показывая, как именно векселя и валютный арбитраж делают традиционное для власть имущих вероломство и насилие все менее привлекательными, Монтескье просто следует программе, которую он наметил для самого себя в кратком эссе «О политике», написанном за двадцать три года до публикации «О духе законов»:

Атаковать политику напрямую, показывая то, насколько сильно ее практики противоречат нравственности и разуму, бессмысленно. При всей своей убедительности подобные рассуждения не способны ничего изменить... Я считаю, что следует идти обходным путем и пытаться внушить власть имущим отвращение к некоторого рода практикам, показывая, насколько мало они способствуют тому, что вообще является полезным<sup>11</sup>.

---

11. *Montesquieu. Oeuvres complètes*. Paris: Pléiade, NRF, 1949. Vol. I. P. 112.

Таким образом, именно основные политические принципы толкали Монтескье на то, чтобы выискивать, приветствовать, а также преувеличивать благоприятные политические следствия, вытекающие из векселей и валютного арбитража. Подобные институты и операции прекрасно согласуются с той политической обеспокоенностью, которой пронизана большая часть его работы: обнаружить механизмы сдерживания злоупотреблений безграничной власти. Его обоснование принципа разделения властей, а также смешанного правления вытекало из поиска противовеса для власти; так как, несмотря на радикально иные выводы, он был вполне согласен с Гоббсом в том, что «каждый человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, это злоупотребление будет разрастаться, пока, наконец, не натолкнется на препятствия»<sup>12</sup>. Монтескье скопировал в свою записную книжку английскую фразу, прочитанную им в 1730 году в период временного пребывания в Англии в *The Craftsman*, эпохальном издании, выпускавшемся Болингброком:

Любовь к власти естественна; она ненасытна; почти всегда распалена и никогда не охладевает, добившись предмета вождения<sup>13</sup>.

---

12. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 137.

13. Montesquieu. Oeuvres complètes. Vol. II. P. 1358. Проследивая те источники, которые повлияли на становление политического учения Монтескье, Роберт Шеклтон придает очень большое значение тому факту, что Монтескье, «хотя и испытывал некоторые трудности с копированием слов на иностранном языке, все же воспроизвел в своей записной книжке, своей рукой аргументы относительно той опасности, с которой сопряжена власть» (*Robert Shackleton*.

В результате он пришел к идее о необходимости принципа разделения властей и целого ряда иных инструментов. Ведь, как гласит его знаменитая фраза,

чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей (*par la disposition des choses*), при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга<sup>14</sup>.

Соответствующий порядок вещей, призванный ограничить безграничное расширение власти, должен быть достигнут путем создания целого ряда институциональных и конституционных страховых механизмов, вмонтированных в политическую систему. Но почему бы не включить в этот порядок вещей что-то еще, что могло бы оказаться полезным? Когда Монтескье перешел к обсуждению экономических вопросов, он обратил внимание на то, что жажда наживы является столь же самодвижущейся и ненасытной, как и стремление к власти. Но если на последнее он смотрел очень мрачно, то первая, как мы уже знаем, считалась им чем-то *douceur*. Отсюда вполне естественно вытекают его усилия по интеграции стяжательского импульса в соответствующий порядок вещей. В ключевой фразе, процитированной ранее, в которой страсти суверена рассматриваются как прирученные его интересами, Монтескье удалось осуществить соединение и смешение ключевых современных ему понятий, касающихся уравнивания страстей, с его собственной теорией уравнивания власти. Он

---

Montesquieu, Bolingbroke, and the Separation of Powers // French Studies. 1949. No. 3. P. 37.

14. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 137.



восхваляет векселя и арбитраж как вспомогательные страховые механизмы, а также бастионы против деспотизма и *les grands coups d'autorité*. Едва ли могут быть сомнения относительно того, что идеи, касающиеся благоприятных политических следствий экономической экспансии, составляют важный, но при этом до сих пор остававшийся без внимания элемент его главного политического тезиса. Точно так же нет оснований сомневаться, что эти идеи являются ключевым обоснованием новой торгово-промышленной эпохи.

В том виде, как мы излагали ее до сих пор, доктрина Монтескье целиком сосредоточена на вопросах внутренней политики и управления. Таковым действительно был его основной интерес: традиционная сфера применения мысли, в которой выдвигались предложения реформ через институционально-конституционный инжиниринг. И тем не менее в XVII и XVIII столетиях наблюдался повышенный интерес к международным отношениям и, в частности, к практически постоянному состоянию войны, в котором находились все основные державы. В той степени, в какой война мыслилась как обусловленная страстями и произволом правителей, любое улучшение внутренней политической или экономической организации, действительно способное ограничить подобное поведение, должно было иметь косвенные благоприятные следствия для международных отношений и увеличивать шансы для мирного сосуществования. Однако международная торговля, подразумевающая операции между государствами, вполне могла оказывать прямое влияние и на вероятность войны и мира: вновь интересы могли позиционироваться как ограничители

ли страстей, особенно страсти к завоеваниям. Ввиду относительной неразвитости теории международных отношений размышления такого рода, как правило, облекались в абстрактные обобщения и ничем не подкрепленные суждения.

Общественное мнение относительно влияния торговли на международные распри и гармонию претерпело самые существенные изменения при переходе от века XVII к веку XVIII. Отчасти в силу господства меркантилистской доктрины, а отчасти в силу того факта, что рынки были столь малы, что торговая экспансия одной страны могла быть обеспечена лишь путем вытеснения другой страны, Кольбер называл торговлю «постоянной борьбой», а сэр Джошуа Чайлд — «своеобразной войной»<sup>15</sup>. Базовые условия и доктрины, определявшие характер торговли, оставались неизменными на протяжении еще как минимум пятидесяти лет. Тем не менее Жан-Франсуа Мелон, близкий друг Монтескье, в 1734 году провозгласил:

Дух завоевания и дух торговли исключают друг друга в рамках одной нации<sup>16</sup>.

Монтескье утверждает столь же категорично:

Естественное действие торговли — склонять людей к миру. Между двумя торгующими друг с другом народами устанавливается взаимная зависимость: если одному выгодно покупать, то другому

---

15. См. введение к: Coleman (ed.). *Revisions in Mercantilism*. P. 15–16.

16. *Jean-François Melon: Essai politique sur le commerce (1734) // E. Daire. Economistes français du 17<sup>e</sup> siècle. Paris, 1843. P. 733.*

*Как экономическая экспансия должна была улучшить...*

выгодно продавать, все их связи основаны на взаимных нуждах<sup>17</sup>.

Столь радикальное изменение мнения относительно влияния торговли на вопросы войны и мира может быть связано с размышлениями Монтескье относительно влияния экономической экспансии на внутреннюю политику. Было трудно утверждать, что внутри страны подобная экспансия приведет к наложению ограничений на поведение правителей, тогда как во внешней политике она будет вести к войнам, которые считались следствием династических амбиций и глупости (как в «Кандиде»), но никак не результатом «истинных интересов».

Восхищение Монтескье торговлей не было безоговорочным. В той же главе, в которой торговля восхваляется за ее вклад в мирный процесс, Монтескье сожалеет о том, что торговля ведет к монетизации всех человеческих отношений и к исчезновению в них теплоты, а также всех прочих «моральных добродетелей, которые побуждают нас не только преследовать неуклонно собственные выгоды, но и поступаться ими ради других людей»<sup>18</sup>.

Мысль Мелона полностью лишена подобного беспокойства. Наоборот, он жаждет переубедить тех, кто опасается того, что торговля, неся мир и спокойствие, одновременно приведет к утрате таких качеств, как храбрость и бесстрашие. Он утверждает, что эти качества не только сохранятся, но даже процветут в силу тех опасностей, которые все время

---

17. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 281–282.

18. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 282.

подстерегают морскую торговлю<sup>19</sup>. Так что, по мнению Мелона, торговля в ее лучших проявлениях наделена всеми необходимыми свойствами — это и противоядие от войны, и ее нравственная замена!

*Сэр Джеймс Стюарт*

В контексте страны, в которой в середине XVIII века не было видно никакого противоядия против разрушительного самодурства, попытки Монтескье опереться на торговлю, векселя и арбитраж как страховку от *les grands coups d'autorité* и войн могут быть истолкованы либо как тактика отчаяния, либо как невероятный скачок оптимистического воображения. В Англии же не было никакой необходимости в столь радикальном мышлении, власть короны в XVIII веке уже была далека от абсолютной. Тем не менее среди политэкономов и исторических социологов «Шотландского Просвещения» во второй половине столетия похожие идеи начали пользоваться все большей популярностью.

Для таких людей, как Адам Смит, Адам Фергюсон и Джон Миллар, эти идеи вытекали из их общей убежденности в том, что экономические изменения являются базовыми детерминантами социальных и политических трансформаций<sup>20</sup>. Однако для сэра

---

19. *Essai politique*. P. 733. Подробную аргументацию о том, что торговля связана с множеством славных дел, см.: *Abbé Gabriel François Coyer. La noblesse commerçante*. London, 1756; *Louis de Sacy. Traité de la gloire*. Paris, 1715. P. 99–100.

20. См.: *Ronald L. Meek. Economics and Ideology and Other Essays*. London: Chapman and Hall, 1967; особенно см. его эссе 1954 года: *Meek. The Scottish Contribution to Marxist Sociology*. P. 34–50.

Джеймса Стюарта, который предлагал идеи, в самой общей и эксплицитной форме схожие с теми, которые предлагал Монтескье, объяснение оказывается еще более простым: его основная работа «Исследование принципов политической экономии» (1767) была по большей части написана и задумана во время долгой ссылки из Англии на европейский континент, где связь между политическими условиями и экономическим прогрессом была особенно очевидна. Более того, на протяжении всей его работы чувствуется влияние мысли Монтескье, начиная с общих принципов и заканчивая бесчисленными конкретными пунктами анализа.

Например, идеи Монтескье, касающиеся политических следствий векселей и арбитража, отчетливо присутствуют в той главе, в которой Стюарт описывает «Общие следствия для торгующей нации от начала активной внешней торговли». Например, в следующей фразе:

Государь оглядывается в изумлении; он, считавший себя первым человеком в стране, вдруг ощущает себя ослепленным светом частного богатства, которое ускользает из его рук всякий раз, как он пытается его схватить. Его пребывание у власти становится более сложным и обременительным; отныне ему приходится апеллировать не только к власти и авторитету, но и к искусству с тактом<sup>21</sup>.

Стюарт вновь высказывает схожую идею в том месте, где он говорит о том, что «денежный интерес» в отличие от «полновесной собственности» землевладельцев «способен помешать усилиям государя»

---

21. *James Stewart. Inquiry. Vol. I. P. 181* (курсив добавлен).

и сорвать «его расчеты по удержанию частного богатства»<sup>22</sup>.

Мысль о вызванных торговой экспансией ограничениях необузданной власти и деспотичных действиях власть имущих прорабатывается и излагается в более общем виде, когда чуть позже в той же главе речь заходит о социальных и политических следствиях экономической экспансии.

Как и в только что процитированном отрывке, Стюарт демонстрирует свою полную осведомленность об этой удивительной загадке. Будучи прекрасно знакомым с меркантилистской мыслью и в некотором смысле находясь под ее влиянием, он знал, что торговля и промышленность, если вести их правильно, приведут к увеличению власти данной сферы, а значит, и власти суверена. В то же самое время наблюдение за реальным социальным развитием, а также знакомство с новой исторической мыслью своих коллег-шотландцев, например Давида Юма и Уильяма Робертсона, указывало на несколько иные следствия: торговая экспансия усиливает позиции «людей среднего ранга» за счет аристократии и в конечном счете за счет самого короля. Находясь на пересечении двух противоположных стратегий анализа, Стюарт примирил их с помощью одного из тех диалектических ходов, который, наряду с прочими свидетельствами, позволяет предположить, что его мысль могла оказать влияние на Гегеля<sup>23</sup>. В истинно меркантилистском духе он утверждает,

---

22. Ibid. P. 213.

23. См.: *Paul Chamley. Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel. Paris: Dalloz, 1963; Documents relatifs à Sir James Steuart. Paris: Dalloz, 1965. P. 89–92, 143–147.*

что «введение торговли и промышленности» вытекает из стремления государя упрочить собственную власть, но затем выясняется, что эти амбиции дают результат, несколько отличный от ожидаемого:

Торговля и промышленность... обязаны своим введением амбициям государей... которые стремились обогатиться, а значит, и стать опасными для своих соседей. Однако до тех пор, пока опыт не научил их, они не понимали, что богатство, получаемое ими из этих источников, было лишь малой частью того, что они могли получить; что богатые, дерзкие и одухотворенные люди, держащие запасы богатства государя в своих руках, держат их и в своей власти, особенно в тот момент, когда у них возникает сильное желание пошатнуть его власть. Следствием этой перемены стал переход к более умеренному и более упорядоченному управлению.

Когда государство начинает жить в соответствии с логикой, диктуемой промышленностью, опасность пострадать от власти суверена существенно снижается. Механизм его правления становится более сложным... он обнаруживает себя ограниченным законами политической экономии, каждое нарушение которых ставит его перед все новыми трудностями.

В этом месте Стюарт несколько темнит:

Я имею в виду правительства, которые работают систематически, конституционно и на основе всеобщих законов, а когда я упоминаю государей, то имею в виду их Советы. Те принципы, которые я исследую, касаются повседневной работы их правительств; возводить бастионы против страстей, пороков и слабостей государей призвана совсем другая ветвь политики<sup>24</sup>.

---

24. *Steuart. Inquiry. Vol. I. P. 215–217.*

Однако Стюарт полностью забывает обо всех своих предосторожностях в тот момент, когда он пару глав спустя возвращается к теме «ограничений», которые «усложненная система современной экономики» накладывает на ведение государственных дел. Вновь Стюарт выдвигает двойной аргумент: с одной стороны, возрастающее богатство государя позволяет ему оказывать «столь мощное влияние на жизнь целого народа, которое в прежние века, даже при самой абсолютной власти, было совершенно немыслимо»; но, с другой стороны, одновременно «власть суверена оказывается серьезно ограничена в каждом своем *деспотичном* проявлении» (курсив Стюарта). Причина заключается в природе «усложненной современной экономики», называемой им «планом» или «планом экономики»:

...исполнение плана несовместимо ни с какой деспотичной или нелогичной мерой. Власть современного государя, данная ему конституцией, даже если эта власть абсолютна, тут же оказывается ограниченной, как только он утверждает тот план экономики, который мы пытаемся здесь рассмотреть. Если ранее его власть напоминала мощный и сильный клин (который мог быть использован как для раскола камней, древесины и прочих твердых тел, так и отброшен прочь, чтобы затем быть подобранным в нужный момент), то теперь она будет похожа скорее на деликатные часы, которые пригодны лишь для фиксирования времени и которые тут же ломаются, если пытаться использовать их иначе или же прикасаться к ним без должной деликатности.

Таким образом, современная экономика — это наиболее действенная узда, когда-либо изобретенная против прихотей деспотизма...<sup>25</sup>

---

25. Ibid. P. 278–279.



Перед нами еще одна яркая формулировка идеи, изначально сформулированной Монтескье: благодаря «усложненной системе современной экономики» интересы возьмут верх над самодурством и «прихотями деспотизма», короче говоря, над страстями правителей. В этот раз Стюарт отбрасывает свои прежние оговорки и прямо называет расширение торговли и промышленности надежными «бастионами против [людских] страстей, пороков и слабостей».

Как и в случае с Монтескье, рассматриваемый здесь набор идей может быть лучше понят, если поместить его в контекст остальной мысли Стюарта. Для Монтескье было нетрудно показать, что его размышления относительно политических следствий торговой экспансии достаточно тесно переплетались с другими лейтмотивами его работы. Но в случае со Стюартом первая реакция — обвинение в непоследовательности: «Исследование» Стюарта получило признание как работа о том, как «государь»<sup>26</sup> может направлять ход событий в одну или другую сторону для того, чтобы удерживать экономику на правильном пути; и пытаюсь реабилитировать Стюарта в качестве великого экономиста, исследователи называли его предшественником Мальтуса, Кейнса и «экономической теории контроля»<sup>27</sup>.

---

26. Этим словом Стюарт условно обозначает «законодательную или верховную власть в зависимости от формы правления» (*Steuart. Inquiry. Vol. I. P.16*). В целом, для него это просвещенный или готовый к просвещению политик, заинтересованный исключительно в общественном благе.

27. См.: *S. R. Sen. The Economics of Sir James Steuart. London: B. Bell and Sons, 1957. Ch. 9; R. L. Meek. The Economics of Control Prefigured // Science and Society. Fall 1958.*

Как так получается, что он одновременно утверждал, будто «введение современной экономики» *ограничит* или *сузит* власть государя в немыслимой до этого степени?

Объяснение вытекает из имплицитного для Стюарта разделения между «деспотичными» злоупотреблениями властью, которые вытекают из пороков и страстей правителя (и которые тесно связаны с *grands coups d'autorité* Монтескье), с одной стороны, и «тонкой отладкой», производимой гипотетическим государственным деятелем, которым движет исключительно общее благо, — с другой<sup>28</sup>. Согласно Стюарту, современная экономическая экспансия кладет конец прежнему типу вмешательства, но одновременно создает особую нужду во вмешательстве второго рода, если, конечно, правитель желает, чтобы экономика двигалась по разумной, ровной траектории.

Принципиальная последовательность мышления Стюарта может быть лучше всего понята через его метафору часов, с которыми он сравнивает «современную экономику». Он использует данную метафору в двух различных случаях, чтобы проиллюстрировать два аспекта государственного вмешательства, которые были только что упомянуты. С одной стороны, часы столь деликатны, что они «тут же ломаются, если... прикасаться к ним без должной де-

---

28. Основной предпосылкой Стюарта, которой он руководствуется на протяжении всей своей книги, являются то, что индивиды мотивированы собственным эгоизмом, тогда как «в государе общественный дух должен быть всепоглощающим» (*Steuart. Inquiry. Vol. I. P.142-143. Также см. выше*).

ликатности»<sup>29</sup>; тут имеется в виду, что старомодные деспотичные *coups d'autorité* столь губительны, что о них придется забыть. С другой стороны, эти же самые часы «все время сбиваются; порой пружина оказывается слишком слабой, а порой — слишком сильной для механизма... и в этот момент требуется рука мастера, чтобы привести ее в порядок»<sup>30</sup>; отсюда вытекает частая необходимость в благонамеренных, деликатных вмешательствах.

Здесь трудно удержаться, чтобы не вспомнить метафору вселенной как часов, которая постоянно использовалась в XVII и XVIII столетиях<sup>31</sup>. Ее суть в том, что Богу пришлось поменять профессию или же «перепрофилироваться»; из горшечника, каким он был в Ветхом завете, он становится мастером-часовщиком, *le Grand Horloger*. Подразумевается, что как только этот мастер создал часы, они должны идти совершенно самостоятельно. Часы Стюарта (т.е. экономику) роднит с Часами (т.е. с Вселенной) то обстоятельство, что они являются очень тонким механизмом, в который нельзя вмешиваться произвольным образом извне; используя образ часов, Стюарт умудряется передать одновременно и невозможность деспотичного, безответственного поведения, и необходимость в частых корректирующих действиях внимательного и опытного «государя».

---

29. *Stewart. Inquiry. Vol. I. P. 278.*

30. *Ibid. P. 217.*

31. Данная метафора была популяризирована Лейбницем и Вольтером, ее использование может быть прослежено вплоть до Никола Оресма (ум. 1382). См.: *Lynn White. Medieval Technology and Social Change. Oxford: Clarendon Press, 1963. P. 125; также см.: Carlo M. Cipolla. Clocks and Culture, 1300–1700. London: Collins, 1967. P. 105, 165.*

Джон Миллар

И Монтескье, и Стюарт были убеждены в том, что экспансия торговли и промышленности позволит устранить деспотические и авторитарные решения суверена. Их аргументы были сходными, если не идентичными. Монтескье делает свои обобщения на основе ситуаций, когда государства в результате становления особых финансовых институтов лишаются своей традиционной власти захватывать собственность и фальсифицировать валюту по своему усмотрению. Для Стюарта общая усложненность и уязвимость «современной экономики» делает деспотические решения и вмешательства невыносимыми, то есть чрезвычайно затратными и разрушительными.

В обоих случаях суверен удерживается или отворачивается от тех резких и непредсказуемых действий, которые он совершал прежде, даже если он по-прежнему склонен к подобному поведению. Позиция Монтескье—Стюарта опирается именно на ограничение, запрещение и санкционирование действий государя, но никак не на стремление побудить его вносить непосредственный вклад в богатство страны—именно эту стратегию отстаивали физиократы, о чем речь пойдет чуть ниже.

«Модель обуздания», избранная Монтескье и Стюартом, особенно в том варианте, который был предложен последним, нуждается в дальнейшем прояснении. В конечном счете удержание может и не сработать, а государь может принять решение совершить какой-нибудь резкий ход или *grand coup d'autorité*. В такой ситуации дело может спасти наличие в обществе сил, способных быстро мо-

билизоваться для того, чтобы дать государю отпор и заставить его отступить или пересмотреть свою политику. Требуется обратная связь или уравновешивающий механизм, который позволит восстановить условия, благоприятные для экспансии торговли и промышленности, если те окажутся под угрозой. В принципе, можно считать, что подобный механизм содержится в росте числа купцов и средних классов, и он уже описывался многими авторами в XVIII веке, начиная от Юма и заканчивая Адамом Смитом и Фергюсоном. Эксплицитное описание исторических причин, в силу которых нарождающиеся классы обретают не просто все большее политическое влияние, но еще и способность *реагировать* на злоупотребления властью со стороны третьих лиц через коллективное действие, было предложено Джоном Милларом, очередным выдающимся представителем Шотландского Просвещения.

В опубликованном после его смерти эссе под названием «Развитие мануфактур, торговли и искусств и способность этого развития распространять дух свободы и независимости» Миллар формулирует основной предмет своего интереса следующим образом:

Дух свободы в торговых странах зависит в основном от двух обстоятельств: во-первых, от состояния людей, связанных с распределением собственности и средств существования; во-вторых, от легкости, с которой члены общества могут объединяться и совершать совместные действия<sup>32</sup>.

---

32. William C. Lehmann. John Millar of Glasgow, 1735–1801. Cambridge: University Press, 1960. P. 330–331. Основные рабо-

В соответствии с этим планом Миллар сначала показывает, как увеличение производительности в промышленности и сельском хозяйстве ведет и там, и там ко все большей «личной независимости и ко все более высоким понятиям всеобщей свободы». Он также считает вполне вероятным, что подобное развитие не будет связано с тем огромным расслоением богатства, которое было характерно для прежней эпохи; наоборот, оно будет вести к «такой градации изобилия, которая не будет иметь никаких разрывов на всем протяжении шкалы»<sup>33</sup>.

Убедив себя в том, что развитие торговли и промышленности приведет ко все большему распространению духа свободы, Миллар дает более конкретные указания на то, как именно это развитие усиливает способность некоторых социальных групп к коллективным действиям против репрессий и плохого управления. Право на восстание, отстаиваемое Локком, подвергается здесь внимательному социологическому анализу, заслуживающему того, чтобы быть процитированным полностью:

...если есть группа магистратов и правителей, наделенных властью, освященной древней традицией, и поддержанных вооруженными силами, то едва ли стоит ожидать, что люди, разобщенные и одинокие, смогут оказать сопротивление притеснениям со стороны правителей; способность людей объединяться во имя этой цели по большому счету зависит от целого ряда обстоятельств... В крупных королевствах люди рассеяны по боль-

---

ты Миллара воспроизведены в III и IV частях данной работы.

33. Ibid. P. 336.

шой территории, в силу этого они едва ли способны на... решительные выступления. Живя в маленьких деревнях на удалении друг от друга и обладая самыми несовершенными средствами общения, они чаще всего никак не затрагиваются теми лишениями, от которых по вине тирании страдает какая-то часть их сограждан; восстания же уже на четверть подавляются в тот момент, когда они разгораются в других местах...

Однако благодаря прогрессу торговли и промышленности состояние страны в этом отношении начинает постепенно меняться. Умножение числа жителей в силу легкости обеспечения пропитания приводит к тому, что люди организуются в крупные группы для более удобного выполнения своей работы. Деревни превращаются в городки, а последние, в свою очередь, нередко разрастаются до многолюдных городов. Во всех подобных местах скопления образуются крупные группы рабочих и ремесленников, которые, занимаясь одним и тем же делом и постоянного общаясь друг с другом, получают возможность со все большей скоростью делиться друг с другом своими чувствами и страстями. Среди них возникают лидеры, способные задавать тон и направление для своих компаньонов. Сильные вдохновляют слабых; смелые приводят в движение робких; решительные убеждают колеблющихся; а движение всей массы народа действует *с однообразностью машины*, а также с силой, которая нередко оказывается неудержимой.

В такой ситуации люди легко воспаляются любым народным недовольством, с не меньшей легкостью они объединяются, требуя исправления ситуации. В городе самая малая причина для недовольства становится поводом для бунта, а пламя мятежа, распространяемое из одного города в другой, дорастает до масштабов всеобщего восстания.

Это объединение не становится результатом локальных ситуаций, не сводится оно и к деятельности низшего класса тех, кто обслуживает систему

торговли и промышленности. *За счет постоянного внимания к предметам профессиональных занятий* верхние слои торговцев очень быстро прозревают относительно своего общего интереса и чаще всего начинают его неумолимое преследование. В то время как крестьянин, занятый в обособленном возделывании своей земли, видит исключительно свою собственную индивидуальную прибыль, в то время как землевладелец ориентируется только на сборы, достаточные для того, чтобы обеспечить его нужды, нередко ни на секунду не задумываясь ни о своем собственном интересе, ни об интересе других людей, купец, хотя он никогда не упускает собственной выгоды, имеет привычку соотносить свою выгоду с выгодой коллег. Таким образом, он всегда готов объединиться с людьми своей профессии во имя того, чтобы добиться помощи от правительства, а также совершить коллективные действия во благо своей торговли и торговли своих коллег.

Преобладание подобных торговых ассоциаций постепенно в ходе нынешнего столетия становится все более и более заметным. Шумные и хаотичные движения населения в больших городах *оказываются способными проникать в самые недра администрирования, внушая страх самым влиятельным министрам и вытесняя самых высокомерных закулисных фаворитов. Голос меркантильного интереса никогда не перестает привлекать внимание правительства,* а если этот голос тверд и единодушен, то он даже получает возможность контролировать и направлять дискуссии национальных советов<sup>34</sup>.

Самое удивительное в этих фразах — это позитивное отношение Миллара к общественной роли восставших и других массовых действий. Пару десятилетий

---

34. Ibid. P. 337–339 (курсив добавлен).



спустя климат полностью изменился, о чем свидетельствует д-р Эндрю Ур в своей работе «Философия мануфактур» (1835):

Мануфактуры естественным образом прижимают широкие слои населения друг к другу; они дают все возможности для секретных сговоров... они дают умения и энергию самым вульгарным умам; они снабжают зарплатами силы раздора<sup>35</sup>.

Естественно, дело в том, что к 1835 году рабочий класс, источник «раздоров», уже возник. Событиями XVIII века, на которых Миллар основывал свой оптимизм относительно массовых действий, возможно, являются «волнения Уилкса», которые время от времени сотрясали Лондон в 1760–1770-х годах<sup>36</sup>. Как показывает Руде, для данных волнений был характерен тот самый альянс купцов и прочих членов среднего класса с «толпой», который столь детально описывается Милларом<sup>37</sup>. Тем не менее прочие наблюдатели этих волнений были очень осторожными в своих оценках. Именно они заставили Давида Юма перейти на более консервативные позиции и удалить из нового издания своих «Эссе» слишком оптимистичные фразы, касающиеся пер-

---

35. Цит. по: *E. P. Thompson. The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books, 1963. P. 361.*

36. Ввиду того, что эссе Миллара было обнаружено после его смерти в 1801 году, его достаточно трудно датировать.

37. *George Rudé. Wilkes and Liberty: A Social Study of 1763 to 1774. Oxford: Clarendon Press, 1962. P. 179–184.* Также см.: *Frank Ackerman. Riots, Populism, and Non-Industrial Labor: A Comparative Study of the Political Economy of the Urban Crowd. Unpublished Ph. D. thesis. Harvard University, Department of Economics, 1974. Ch. 2.*

спектив установления свободы, например, он убрал свои слова о том, что «народ — не такое уж опасное чудовище, каким его привыкли изображать»<sup>38</sup>. Описания Миллара также не всегда носят оптимистический характер, это особенно очевидно, когда он описывает перспективу «всеобщего восстания»; но в целом он делает акцент на «*постоянном внимании к предметам профессиональных занятий*» со стороны купцов, а также на их превосходную — по сравнению с рассеянными крестьянами — способность спланировать для проведения согласованных действий, привлекать окружающих к своему делу и добиваться от своевольных политиков снижения взваленного на них бремени. Процесс, описываемый Милларом, выявляет «характерную целеустремленность» и «сфокусированность», которые, похоже, были отличительными чертами толп Западной Европы<sup>39</sup>. Как считается, эти толпы сыграли «конституирующую роль» не только в Англии, но также в колониальной Америке<sup>40</sup>, вполне в духе этих описаний Джон Миллар отводил им в высшей степени рациональную и благотворную роль в поддержании и защите экономического прогресса.

---

38. Удаленный кусок приводится в качестве сноски в издании: *David Hume. Essays. Vol. I. P. 97*. Данный эпизод рассматривается в следующей работе: *Giarrizzo. David Hume. P. 82*.

39. *Pauline Maier. Popular Uprisings and Civil Authority in Eighteenth-Century America // William and Mary Quarterly 27. Jan. 1970. P. 18*; также см.: *Dirk Hoerder. People and Mobs: Crowd Action in Massachusetts during the American Revolution. Unpublished dissertation, Freie Universität, Berlin, 1971. P. 129–137.*

40. *Maier. Ibid. P. 27.*

Более того, подобно тому, как Стюарт сравнил работу «современной экономики» с «деликатностью часов», движения торговцев и их союзников рассматриваются у Миллара как совершаемые «с однообразностью машины». Похоже, Миллар был уверен в том, что ему удалось обнаружить важный надежный механизм, способный гарантировать, что страсти государя не смогут взять верх над государственным интересом и нуждами расширяющейся экономики. В этом смысле его соображения завершают линию, начатую Монтескье и Стюартом.

## Схожие, но несколько отличные взгляды

Позиция Монтескье — Стюарта по поводу политических следствий экономической экспансии отнюдь не была общепринятой. Наиболее влиятельные авторы, писавшие об экономических вопросах во Франции и Англии, физиократы и Адам Смит, не только не смогли прибавить ничего нового к этой линии мысли, но даже — в особенности Адам Смит — внесли свой вклад в ее упадок.

Обе группы разделяли целый ряд важных идей и интересов, однако их акценты и выводы получали нередко совершенно иной окрас. Например, идея экономики как замысловатого механизма или же машины, действующей независимо от людской воли, была едва ли не важнейшим вкладом физиократов

в экономическую мысль<sup>41</sup>. В ходе своих европейских блужданий Стюарт вошел в соприкосновение с несколькими выдающимися представителями данной школы<sup>42</sup>, его видение современной экономики как часового механизма вполне могло сложиться в том числе и под их влиянием. Однако вывод, который делали физиократы из этого прозрения, сильно отличался от вывода Стюарта: если Стюарт прогнозировал, что отныне никто не осмелится вмешиваться в работу данной машины, то первые ратовали за такой политический порядок, в котором сама возможность вмешательства будет полностью исключена.

Физиократы и Адам Смит также разделяли со своими современниками их веру в важность различия движимой и недвижимой собственности. Данное различие натолкнуло Монтескье на мысль о том, что правительства, имеющие дело с гражданами, владеющими исключительно движимым имуществом, будут вынуждены вести себя иначе, чем те, что имеют дело с обществами, в которых основной формой частного владения богатствами является недвижимость. В «Богатстве народов» данное разделение, а также способность собственников капитала перемещаться в другие страны получают несколько упоминаний, кроме того, оно признается ограничением, накладываемым на грабительскую налоговую политику<sup>43</sup>. Однако Адам Смит все же

---

41. *Ronald L. Meek. The Economics of Physiocracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963.*

42. *A. S. Skinner. Introduction // James Steuart. Inquiry. Vol. I. P. xxxvii, а также: Chamley. Documents. P. 71–74.*

43. *Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007.*

не осмеливается идти дальше. В своем основополагающем труде «Философия сельского хозяйства» Мирабо и Кенэ также указывают на ускользающий характер богатства в торговых обществах. По сути, они вплотную приближаются к анализу Монтескье, но делают это несколько иначе:

Все имущество [торговых обществ] состоит из рассеянных по разным местам тайных ценных бумаг, нескольких складов, а также пассивных и активных долгов, истинные владельцы которых до определенной степени неизвестны, так как никто не знает, какие из них приносят деньги, а какие, наоборот, требуют оплаты. Никакое богатство, являющееся нематериальным или же хранящееся в карманах людей, никогда не может перейти под контроль суверена, а следовательно, ему от него никакой пользы. Это та истина, которую следует все время повторять правительствам тех сельскохозяйственных стран, которые никак не могут вышколить в себе торговцев, то есть ограбить себя. Богатые купцы, торговцы, банкиры и т. д. всегда будут оставаться членами республики. В каком бы месте они ни жили, они всегда будут пользоваться иммунитетом, вытекающим из рассеянного и скрытого характера их активов, все, что можно увидеть, так это то место, в котором совершается сделка с использованием данных активов. Властям бесполезно принуждать их к исполнению своих обязанностей подданных: чтобы заставить таких людей подчиняться, их необходимо рассматривать как господ, необходимо делать так, чтобы добровольные пожертвования на общественные блага стали достойны их внимания<sup>44</sup>.

---

44. Взято из: *Mirabeau and François Quesnay. Extract from 'Rural Philosophy' // Meek. Physiocracy. P.63.*

Ясно, что для Кенэ и Мирабо ускользающие свойства торговли и промышленности — это, во-первых, скорее обременения, чем актив, так что они рекомендуют стране не особенно поощрять деятельность такого рода<sup>45</sup>. Во-вторых, они подразумевают, что богатые купцы и банкиры каким-то образом вернутся к средневековым моделям и организуются в отдельные республики. Таким образом, проблема политической организации в «сельскохозяйственных обществах» (в число которых имплицитно включалась и Франция) остается нерешенной.

Наконец, что самое важное, обе группы авторов в равной степени были убеждены в том, что некомпетентная, деспотичная и расточительная политика правителей может существенным образом затруднить экономический прогресс. Адам Смит посвящает несколько страниц своего красноречия осуждению подобной политики<sup>46</sup>, а следующее обвинение Кенэ вполне может рассматриваться как хороший пример того, что Монтескье называл *grands coups d'autorité*:

...деспотизм государей и их приспешников, недостатки и нестабильность законов, беспорядочность (*dérèglements*) управления, отсутствие определенности относительно собственности, войны,

---

45. Страхи и надежды, возникшие в XVIII веке в связи с возникновением различных форм *движимого* капитала как основной компоненты общего богатства, очень напоминают схожие противоречивые оценки, спровоцированные недавним подъемом транснациональных корпораций.

46. *Jacob Viner. Adam Smith and Laissez Faire // Journal of Political Economy. 35. April 1927. P. 198–232.*

хаотическое принятие решений в сфере налогов уничтожают людей и богатства государя<sup>47</sup>.

Но опять же ни физиократы, ни Адам Смит не желали опираться на экономическую экспансию для «избавления» от подобных ошибок со стороны политиков. Скорее, они ратовали за то, чтобы разобраться с этими болячками напрямую: физиократы выступили в поддержку нового политического порядка, который бы гарантировал проведение корректной экономической политики в том ее виде, как она была определена ими; цель Адама Смита была куда более скромной — она заключалась в том, чтобы добиться изменения конкретных политик. Каждую из этих позиций мы рассмотрим отдельно.

### *1. Физиократы*

Сравнительно небольшие различия в подходах привели к тому, что Монтескье и физиократы заняли по вопросам политической организации прямо противоположные позиции. Монтескье попытался разработать политические и экономические институты, которые бы позволили эффективно ограничить злоупотребления со стороны суверена. Физиократы были несколько более амбициозными: они хотели мотивировать суверена на корректное поведение (то есть поведение в соответствии с доктриной физиократов) по своей собственной воле. Другими словами, они стремились помыслить политический порядок, в котором власть имущие будут сти-

---

47. *Hommes* (1757) // François Quesnay et la Physiocratie. I. N. E. D., 1958. Vol. II. P. 570.

мулированы соображениями эгоизма к тому, чтобы способствовать общим интересам. Поиск подобной гармонии интересов был гоббсовским способом постановки проблемы наилучшей формы правления, и именно этот поиск привел его к тому, чтобы в конечном счете предпочесть абсолютную монархию демократии и аристократии:

Общие интересы... больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными интересами. Именно такое совпадение имеется в монархии. Богатство, могущество и слава монархов обусловлены богатством, силой и репутацией его подданных. Ибо никакой король не может быть ни богат, ни славен, ни находиться в безопасности, если его подданные бедны, презираемы или слишком слабы вследствие бедности или междоусобий, чтобы выдержать войну против своих врагов. При демократии же или аристократии личное благополучие лиц продажных или честолюбивых обеспечивается не столько общественным процветанием, сколько чаще всего вероломным советом, предательством или гражданской войной<sup>48</sup>.

В своих политических сочинениях физиократы подхватывают ту же мысль; что касается формы правления, предлагаемой Монтескье, то ее они считают обреченной на слабость и ущербность. В то же время через принцип *laissez-faire* они формулируют иную, гораздо более известную доктрину гармонии интересов, согласно которой общественное благо является следствием свободного преследования каждым человеком своего собственного эгоистиче-

---

48. Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 146.



ского интереса. Располагаясь на пересечении этих двух *Harmonielehren*, физиократы странным образом выступали и в пользу свободы от государственного вмешательства в рынок, и в пользу навязывания данной свободы всемогущим правителем, чей эгоистический интерес увязан с «правильно организованной» экономической системой. Последняя описывается ими как «законный деспотизм», который они противопоставляют «самовольному деспотизму», виновному в злодеяниях, столь подробно описанных Кенэ<sup>49</sup>.

Идя дальше Гоббса, опиравшегося на теорию схождения интересов многих и того единого, который правит, некоторые физиократы изобретали институциональные установления, специально предназначенные для того, чтобы сделать деспота по настоящему «легальным». С одной стороны, они разрабатывали систему юридического контроля, способную удостоверить, что законы, издаваемые сувереном и его советом, не вступают в противоречие с «естественным порядком», который должен отражаться в фундаментальной конституции государства<sup>50</sup>. Однако еще более важной страховкой была идея о том, что суверен сам должен быть заинтересован в процветании своей державы. Именно это соображение лежало в основе предложения учредить институт совместной собственности, выдвинутого Мерсье де Ла Ривьером в работе «Естественный и необходимый порядок общественных

---

49. Данной терминологии мы обязаны Мерсье де Ла Ривьеру.

50. О данном аспекте мысли физиократов см.: *Mario Einaudi. The Physiocratic Doctrine of Judicial Control. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1938.*

учреждений»<sup>51</sup>. Согласно его плану, суверен в четко определенной и неизменной пропорции должен стать совладельцем всех производительных ресурсов, а также *produit net*: в результате никакой конфликт интересов между ним и его страной не будет возможным, а гоббсовское тождество интересов станет очевидным даже для наиболее недальновидного и нечестивого деспота.

Именно Ленгэ, вечный *enfant terrible* и критик как Монтескье, так и физиократов, довел подобную линию мышления до ее логического завершения. Он вполне логично полагал, что совместная с монархом собственность едва ли сможет стать гарантией искомого тождества интересов, поэтому он решил сделать еще один шаг и выступить с идеей о том, чтобы на этот раз уже все национальное богатство находилось в руках правителя. Он последовательно восхваляет «восточный» или «азиатский деспотизм» и приходит к выводу о том, что та система, за которую он ратует,

вопреки расхожему мнению вовсе не способствует тирании; наоборот, она накладывает на короля гораздо более суровые ограничения, чем так называемая зависимость по отношению к своим вассалам, которой некоторые предлагают сковать его. [Эта идеальная система] не только рекомендует им быть справедливыми, она заставляет их быть таковыми<sup>52</sup>.

---

51. *Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques* / Ed. E. Depître. Paris, 1910. Ch. 19 and 44; также см.: *Georges Weulersse. Le mouvement physiocratique en France, 1756-1770*. Paris: Alcan, 1910. Vol. II. P. 44-61.

52. *Théories des lois civiles*. London, 1774. Vol. I. P. 118-119 (*Oeuvres*, III).

Данный отрывок отчетливо напоминает фразу Стюарта о том, что «глупость деспотизма» становится немыслимой вместе с приходом «современной экономики». Ключевым различием является то, что физиократы, равно как и Ленгэ, ожидали, что их идеальная система политической экономии будет воплощена просвещенным государственным деятелем, убежденным силой их аргументов<sup>53</sup>, тогда как сэр Джеймс Стюарт полагал, что изменение в чаемом направлении случится само по себе в результате продолжающегося процесса экономического развития.

Представить позицию, которая совместит эти две точки зрения, не так уж и сложно: марксизм приучил нас к возможности верить одновременно и в то, что исторические силы неумолимо влекут нас в сторону определенного исхода, и в то, что те, кто жаждет подобного исхода, должны посвятить всю свою энергию его приближению. Собственно, каждый общественный мыслитель, задающийся вопросами достижения политических целей, сталкивается с проблемой соответствующего смещения предсказания и предписания, но сейчас самое время перейти к анализу очень сложной позиции, занятой по этому вопросу Адамом Смитом.

## *2. Адам Смит и конец перспективы*

Главным следствием выхода «Богатства народов» стало распространение убедительного экономическо-

---

53. Их значительное влияние на государственную политику, а также на общественное мнение описывается в следующем исследовании: *Weulersse. Le mouvement physiocratique. Vol. II. Book 4.*

го обоснования беспрепятственного преследования своего корыстного интереса, тогда как раньше упор всегда делался на *политических* следствиях подобного преследования. Однако ни один внимательный читатель данной работы не будет удивлен, что в этой необычайно богатой и многогранной работе содержатся также аргументы еще и о политических следствиях. В одном из мест своего исследования Адам Смит выдвигает идею, согласно которой возрастание богатства и ограничение власти следуют друг за другом; он проводит эту идею на протяжении множества страниц и с большим удовольствием, чем любой другой автор до него. Это место — прекрасно известное описание эрозии феодализма в четвертой главе Книги III, озаглавленной «Как торговля городов содействовала росту благосостояния сельских местностей». Смит повествует о том, как

торговля и промышленность постепенно приводили к установлению порядка и нормального управления, а вместе с ними и к обеспечению свободы и безопасности личности в сельских местностях, жители которых до того времени жили в почти постоянном состоянии войны со своими соседями и в рабской зависимости от выше их стоящих<sup>54</sup>.

Эта история может быть пересказана достаточно лаконично, но для передачи духа работы я собираюсь оставаться максимально близким к блестящему колкому тексту Адама Смита<sup>55</sup>. До подъема торговли

---

54. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007. С. 406.

55. Просто загадка, как мог Шумпетер называть «мудрость» из Книги III «сухой и безжизненной». См.: Шумпетер Й.

и промышленности могущественные землевладельцы делили избыточный продукт, получаемый со своих владений, с большим числом слуг, полностью зависящих от землевладельцев, а также составлявших его частную армию, а также со своими держателями, платившими низкую ренту, но не имевшими всех преимуществ держания. Эта ситуация приводила к тому, что «король оказывался... неспособным обуздывать произвол и насилия крупных владетелей... По-прежнему они продолжали вести по своему усмотрению почти непрерывные войны друг с другом, а очень часто и против короля; и деревня по-прежнему оставалась аренной насилий, грабежей и беспорядков»<sup>56</sup>.

Однако затем ситуация изменилась. Это было вызвано «бесшумным и незаметным действием внешней торговли и мануфактур». Теперь у землевладельцев было нечто, на что они могли потратить свой избыточный продукт, до этого распределявшийся между слугами и арендаторами: «бриллиантовые пряжки или... что-нибудь столь же суетное и бесполезное», «побрякушки и безделушки, пригодные скорее быть игрушками для детей» — именно так презрительно Адам Смит описывает те товары, которые предлагали землевладельцам городские жители. Торговля стала для землевладельцев столь привлекательной, что они решили заниматься ею без слуг, они стали вступать в долговременные и в целом более напоминающие бизнес отношения со своими держателями. В конечном счете «ради

---

История экономического анализа в 3 т. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 239.

56. Смит А. Богатство народов. С. 409.

удовлетворения самого ребяческого, низменного и нелепого тщеславия они постепенно отдали всю свою власть и влияние»<sup>57</sup> и «сравнились с любым зажиточным мещанином или городским торговцем»<sup>58</sup>. Серьезным политическим следствием этого стало то, что «...крупные землевладельцы лишились возможности мешать регулярному отправлению юстиции или нарушать общественный мир в деревне»<sup>59</sup>.

И вновь подъем торговли и промышленности приводил к более упорядоченному правлению, однако *modus operandi* в этой интерпретации достаточно сильно отличался от описываемого Монтескье и Стюартом. Во-первых, последние были обеспокоены верховной властью короля, ее использованием и злоупотреблением ею, тогда как Смит обращается прежде всего к власти феодальных землевладельцев. Во-вторых, он связывает ограничение этой власти не с осознанием землевладельцами того, что их интерес заключается в сокращении разврата, а с тем, что сами землевладельцы непредумышленно отказываются от собственной власти, пытаясь воспользоваться новыми возможностями для потребления и улучшения своего материального положения, появившимися благодаря «прогрессу искусств». По сути, данный эпизод может быть проинтерпретирован скорее как победа страстей (алчности и роскоши) над долговременными интересами землевладельца, чем как приручение страстей интересами.

---

57. Там же. С. 410.

58. Там же. С. 412.

59. Там же. С. 412.

Та форма аргументации, которая была избрана Адамом Смитом, делала крайне трудным ее перенесение с землевладельцев на суверена. В «Истории Англии» Юма, которую Смит цитирует в начале своего повествования, подъем «людей среднего ранга» был описан схожими, пусть и менее красочными, словами; Юм специально отметил то, что утрата землевладельцами власти пошла на пользу не только возникающим купцам и фабрикантам, но и самому суверену. Адам Смит использовал в своих лекциях схожую аргументацию<sup>60</sup>. Что касается деспотичных решений и пагубной политики центрального правительства, то Смит не разделял особых надежд на то, что экономическое развитие само по себе позволит добиться здесь значимых улучшений. В одном из мест, в котором речь идет о «капризном тщеславии королей и министров», Адам Смит отдельно отмечает:

Насилие и несправедливость правителей человечества — старинное зло, против которого, боюсь, природа дел человеческих вряд ли знает лекарство<sup>61</sup>.

А в полемике с Кенэ он утверждает, что значимый экономический прогресс может быть достигнут и вне зависимости от улучшений политической атмосферы:

в политическом организме естественные усилия, постоянно делаемые каждым отдельным челове-

---

60. *David Hume*. The History of England. Oxford, 1826. Vol. V. P. 430. Appendix III «Manners»; также см.: *Adam Smith*. Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms / ed. E. Cannan. Oxford: Clarendon Press, 1896. P. 42–43.

61. *Смит А.* Богатство народов. С. 476.

ком для улучшения своего положения, представляют собою начало самосохранения, способное во многих отношениях предупреждать и исправлять дурные последствия пристрастной и притеснительной политической экономии... Но мудрая природа, к счастью, позаботилась о том, чтобы заложить в политическом организме достаточно средств для исправления многих вредных последствий безумия и несправедливости человека<sup>62</sup>.

В своем «Отступлении по вопросу о хлебной торговле и хлебных законах» он использует схожие понятия:

Естественное стремление каждого человека улучшить свое положение, если ему обеспечена возможность свободно и беспрепятственно проявлять себя (*security*), представляет собой столь могущественное начало, что одно оно не только способно без всякого содействия со стороны довести общество до богатства и процветания, но и преодолеть сотни досадных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его деятельность<sup>63</sup>.

В данном отрывке Смит утверждает, что экономика способна сама проделать этот путь: политический прогресс вовсе не требуется в качестве предварительного условия для экономического развития, не является он и вероятным следствием данного развития, по крайней мере на уровне высших органов власти<sup>64</sup>. В рамках такого подхода, сильно отличаю-

---

62. Там же. С. 634.

63. Там же. С. 517.

64. В данном аспекте, равно как и в еще одном пункте, разбираемом чуть ниже, моя интерпретация сильно отлича-



щегося от доктрины *laissez-faire* или доктрины минимального государства, все еще распространенной среди современных экономистов, политика — это удел «человеческой глупости», тогда как экономический прогресс, подобно саду Кандида, может вполне успешно возделываться при условии, что эта глупость не превышает некоторых вполне широких и гибких пределов. Как оказывается, Смит выступает не столько за государство с минимальными функциями, сколько за государство, способность которого совершать глупости все же имеет некоторые пределы.

Адам Смит не разделял точку зрения Монтескье и Стюарта еще по целому ряду более важных причин. Во-первых, он отчетливо понимал специфику некоторых правительственных «глупостей», которые, по его мнению, сдерживали экономическое развитие (например, ряд меркантилистских мер). Но Адам Смит, подобно физиократам, стремился описывать эти политические глупости как суровые реалии, нуждающиеся в изменении, а не в уповании на то, что рано или поздно они сами по себе исчезнут.

---

ется от той, что в работе: *Joseph Cropsey. Polity and Economy: An Interpretation of the Principles of Adam Smith. The Hague: Nijhoff, 1957.* Я констатирую и аргументирую свою интерпретацию вместо того, чтобы проводить детальное сравнение своей позиции с позицией Кропси, которая в «самом общем виде» звучит следующим образом: «Позиция Смита может быть проинтерпретирована следующим образом: торговля порождает свободу и цивилизацию, но в то же время свободные институты просто необходимы для сохранения торговли» (р. 95). Из опубликованных недавно критических разборов позиции Кропси см.: *Duncan Forbes. Sceptical Whiggism, Commerce and Liberty // A. S. Skinner, T. Wilson, eds. Essays on Adam Smith. New York: Oxford University Press, 1976. P. 194–201.*

Во-вторых, Смит в отличие от Монтескье и Стюарта не был готов приветствовать новую эру торговли и промышленности как эру, которая избавит человечество от древних зол, например, злоупотребления властью, войны и т. д. Его хорошо известное амбивалентное отношение к материальному прогрессу прекрасно иллюстрируется в том историческом повествовании, которое было изложено выше. Несмотря на то что Смит явно одобрял исход описываемого процесса — в конечном счете результатом было «установление порядка и нормального управления, а вместе с ними и обеспечение свободы и безопасности личности», — он в то же самое время был чрезвычайно язвителен в отношении цепи событий и мотиваций, которые привели к этому счастливому исходу. Объяснение этого двойственного отношения отчасти заключается в том восхищении, которое он испытывал перед непреднамеренными следствиями человеческих действий. Невозможно избавиться от ощущения, что в данном конкретном случае Смит слегка переусердствовал со своей «невидимой рукой»: тот сарказм и даже грубость, с которой он описывает «глупость» землевладельцев, заставляет читателя задаться вопросом: как землевладельцы могли быть столь слепы в отношении своих классовых интересов?<sup>65</sup>

---

65. Как Юм в своей работе «История Англии» (1762), так и Джон Миллар в работе «Истоки ранговых различий» (1771) связывают утрату лордами власти с экономическими причинами, однако в отличие от Адама Смита они уделяют гораздо больше внимания «людям среднего ранга», которые имели дело с множеством покупателей вместо того, чтобы зависеть от благосклонности одного единственного человека. Что касается эссе Миллара, см.:

Двойственное отношение Смита к нарождающемуся капитализму не было ограничено этим одним примером. Его наиболее известное выражение — это анализ разделения труда, прославляемого в Книге I лишь для того, чтобы быть раскритикованным в Книге V. Об этом контрасте было написано немало книг<sup>66</sup>. Здесь особенно важно то, что Смит рассматривает утрату военного духа и добродетелей как одно из *печальных* следствий как разделения труда, так и торговли в целом. Что касается первого, то в «Богатстве народов» он пишет про «человека, вся жизнь которого проходит в выполнении немногих простых операций»:

О великих и общих интересах своей страны он вообще не способен судить, и, если не прилагаются чрезвычайные усилия, чтобы повлиять на него, он оказывается столь же неспособным защищать свою страну во время войны. Однообразие неподвижной жизни, естественно, подрывает мужество его характера и заставляет его с ужасом взирать на беспорядочную, неверную и полную случайностей жизнь солдата<sup>67</sup>.

В своих «Лекциях» он делает схожее замечание, касающееся торговли, тем самым полностью разделяя классическое «республиканское» воззрение, соглас-

---

*William C. Lehmann.* John Millar of Glasgow. Cambridge: University Press, 1960, pp. 290–291; о Юме см. выше, сноска 61.

66. Несколько недавних исследований на эту тему см.: *Nathan Rosenberg.* Adam Smith on the Division of Labor: Two Views or One? // *Economica*. 32. May 1965. P. 127–139; *Robert L. Heilbroner.* The Paradox of Progress: Decline and Decay // *The Wealth of Nations. Journal of the History of Ideas*. 34. April–June 1973. P. 242–262.

67. Смит А. Богатство народов. С. 722.

но которому коммерция приводит к изнеживающей роскоши и разложению.

Еще одним дурным следствием торговли является то, что она ослабляет в человеке храбрость и приводит к выветриванию воинского духа... Человек имеет... время для того, чтобы заниматься только коммерцией, и очень неудобно обязывать каждого обучаться воинскому искусству и практиковаться в нем. Таким образом, оборона страны перепоручается определенному классу людей, освобожденных от всех других занятий, а среди основной массы населения воинская доблесть снижается. Погрязнув в роскоши, люди становятся женоподобными и трусливыми<sup>68</sup>.

В резюмирующей части данного раздела он повторяет:

Таковы недостатки торгового духа. Умы людей заняты контрактами, они становятся неспособными на возвышенные деяния. Образование презирается или как минимум пренебрегается, что касается духа героизма, то он практически полностью выветривается. Исправление данных дефектов — предмет, заслуживающий самого серьезного внимания<sup>69</sup>.

Из этих цитат становится очевидным, почему Смит оказался не способен увидеть человеческие и политические следствия подъема торговли и промышленности, тогда как он действительно отмечал некоторые из преимуществ такого подъема, например, способствование честности и пункту-

---

68. *Adam Smith. Lectures. P. 257.*

69. *Ibid. P. 259.*

альности<sup>70</sup>. Смит считал разрушительными некоторые из тех следствий торговли, которые приветствовались, например, Монтескье, находившимся под сильным впечатлением от тех бед, которые «воинский дух» принес в Новое время. *Douceur*, которую прославлял Монтескье и прочие, означала разложение и упадок не только для Руссо, но в некоторой степени также и для Смита. Последовательное выражение этой точки зрения можно обнаружить в работе другого шотландца — Адама Фергюсона, сохранившего свои связи с «грубым» обществом Шотландии. Его «Опыт истории гражданского общества» (1767) изобилует оговорками, касающимися «отшлифованного» общества расширяющейся торговли, набиравшего обороты в Англии<sup>71</sup>.

Однако основное влияние, оказанное Адамом Смитом на интересующую нас идею, заключается в несколько ином. Он не только не разделял позиции Монтескье и Стюарта, считавших, что нарождающийся капитализм способен улучшить политический порядок посредством контроля за бушующими страстями; он решительно подорвал эту позицию, в некотором смысле даже нанес ей смертельный удар. В своей наиболее важной и влиятельной работе Смит рассматривает людей как движимых исключительно «желанием улучшить... [свое] положение», далее он уточняет, что «большинство людей предполагает и желает улучшить свое по-

---

70. Ibid. P. 253–255.

71. Детальную историю и анализ республиканского течения в политической мысли, начиная с Макиавелли и заканчивая Англией и Америкой XVIII века, см.: *Россов. Machiavellian Moment*.

вращая эти два в одно: отныне стремление к улучшению экономического положения не является чем-то автономным, оно превращается в инструмент для стремления к почету. Однако неэкономические стремления, какими бы могущественными они ни были, точно так же вливаются в стремления экономические, отныне лишь усиливая их, тем самым лишаясь своего прежнего независимого существования.

Отсюда вытекают два следствия. Во-первых, решение обозначенного противоречия Адама Смита, то есть загадки о том, как именно сочетаются между собой работы «Теория нравственных чувств» и «Богатство народов», вполне может находиться именно здесь. В первой работе Смит анализировал самый широкий спектр человеческих чувств и страстей, но одновременно он еще и убеждал себя в том, что в случае «великой толпы людской» основной человеческий инстинкт толкает ее к улучшению собственного материального благополучия. И затем в «Богатстве народов» он подробно рассматривает условия, при которых эта цель, на которой в конечном счете сходится человеческое поведение, может быть достигнута. Вследствие того акцента, сделанного им на неэкономических истоках экономической деятельности, для него оказывается возможным сконцентрироваться на экономическом поведении так, чтобы это полностью соответствовало его прежнему интересу к другим важным измерениям человеческой личности.

Второе следствие гораздо более важно с точки зрения излагаемой здесь истории. Полагая, что амбиции, жажда власти и желание добиться уважения могут быть удовлетворены через экономическое

развитие, Смит подрывает идею о том, что страсть может быть направлена против страсти или же что интерес может выступить в качестве противовеса страстей. Внезапно вся эта цепочка становится непостижимой, если не бессмысленной. Вместо этого происходит возврат к добэкономовской стадии, когда основные страсти рассматривались единым блоком и питали друг друга<sup>76</sup>. Следовательно, едва ли стоит удивляться тому, что Смит в ключевом месте «Богатства народов», где речь идет о *modus operandi* рыночного общества, фактически отождествляет страсти с интересами:

Таким-то образом частные *интересы и страсти* отдельных людей, естественно, располагают их обращать свой капитал к занятиям, в обычных условиях наиболее выгодным для общества. Но если под влиянием такого естественного предпочтения они начнут обращать слишком много капитала к этим занятиям, понижение прибыли в них и повышение ее во всех других занятиях немедленно же побудят их исправить такое неправильное распределение. Таким путем без всякого вмешательства закона частные *интересы и страсти* людей, естественно, заставляют их делить и распределять капитал любого общества среди различных занятий, существующих в нем, по возможности в точном соответствии с тем, что наиболее совпадает с интересами всего общества в целом<sup>77</sup>.

Два понятия — «интересы» и «страсти», которые на протяжении тех ста пятидесяти лет, что прошли с того момента, как граф Роган написал «Об инте-

---

76. См. выше.

77. Смит А. Богатство народов. С. 597 (курсив добавлен).

ресе монархов и государств христианского мира», столь часто фигурировали в качестве антонимов, оказываются здесь синонимами, дважды следующими фактически через запятую. Едва ли в этом можно заподозрить какой-то сознательный умысел, но результатом подобного языкового выбора было уничтожение логического обоснования опоры на эгоистический интерес: устранялось противопоставление интересов страстям и способность первых приручать вторые. Только что процитированный отрывок возводил на престол логическое обоснование Смита, а именно его идею о том, что материальное благополучие «целого общества» улучшается, когда каждому дозволяется преследовать свой частный интерес; в то же время используемый им язык похода уничтожил конкурирующее логическое обоснование.

Одна из причин, по которой слово «страсти» стало использоваться как еще один излишний синоним интересов, заключается в том, что Адам Смит гораздо больше, чем прежние авторы, интересовался «великой толпой людской», то есть был простым человеком и его поведением. В соответствии с долгой традицией именно аристократия, как считалось, была движима множеством благородных и неблагородных страстей, вступавших в противоречие с диктатом долга и разума или же друг с другом. Макиавелли, говоря о государе, считал само собой разумеющимся тот факт, что его страсти «гораздо многочисленнее, чем у народа»<sup>78</sup>. Или же, как сфор-

---

78. *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия (Гл. LVIII) // *Макиавелли Н.* Собрание сочинений в 1 т. СПб.: Ленинградское издательство, 2011. С. 285.



мулировал данную мысль Гоббс: «Все люди естественным образом стремятся к чести и привилегиям, но прежде всего те, кто меньше всего заботится о необходимых вещах» и «кто в ином случае живет очень просто, не боясь нужды»<sup>79</sup>. Именно по этой причине лишь члены прошлой или нынешней аристократии рассматривались в качестве кандидатов на роль ключевых персонажей трагедий и прочих форм «высокой» литературы, как правило, описывавшей страсти и конфликты, из этих страстей вытекающие<sup>80</sup>. Обычный смертный не мыслился столь же сложно устроенным. Его основными заботами были заботы о существовании и улучшении своего материального положения, эти цели считались самодостаточными и в лучшем случае в них виделась лишь замена стремления к уважению и восхищения. Таким образом, простой смертный был или лишен страстей, или его страсти могли быть удовлетворены посредством преследования своих интересов.

Именно по этим причинам «Богатство народов» ознаменовало собой конец спекуляций относительно влияния поведения, движимого интересами, на поведение, обусловленное страстями, которое занимало умы некоторых из прославленных предшественников Смита. После Смита в центре внимания как академических, так и политических дис-

---

79. *Thomas Hobbes. English Works. Vol. II. P.160, цит. по: Keith Thomas. The Social Origins of Hobbes's Political Thought // Brown, ed. Hobbes Studies. P.191.*

80. См.: *Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000.*

куссий оказалась его идея о том, что всеобщее (материальное) благополучие может быть быстрее всего достигнуто, если позволить каждому члену общества преследовать свой собственный (материальный) эгоистический интерес. Тот успех, который эта идея имела в вытеснении прежней постановки проблемы, может быть объяснен, прежде всего, в понятиях интеллектуальной истории. Хотя Смит пытался избежать и откреститься от той парадоксальной манеры, с которой Мандевиль излагал схожие мысли, его идея породила такое количество интеллектуальных парадоксов, что их разбором и решением занимались целые поколения экономистов. Более того, данный тезис и вытекающая из него концепция удовлетворяли и еще одному требованию в высшей степени успешной парадигмы: хотя он и представлял собой масштабное обобщение, в то же самое время он существенно *сужал* поле исследования, по которому социальная мысль прежде перемещалась достаточно свободно. Это позволило добиться интеллектуальной специализации и профессионализации. Однако маргинализацию размышлений Монтескье и Стюарта следует связывать и с более общими историческими факторами: едва ли стоит удивляться тому, что их оптимистические идеи относительно политических следствий расширения торговли и промышленности не пережили эпоху Французской революции и наполеоновских войн.

Часть III  
Размышления  
над одним эпизодом  
из интеллектуальной  
истории

## Где именно линия Монтескье – Стюарта свернула не туда

Есть одна старая и хорошо известная еврейская притча о раввине из Кракова, который однажды прервал свою проповедь скорбным возгласом. Он сообщил, что только что видел смерть раввина из Варшавы, находившегося от него за двести миль. Краковская еврейская община была расстроена, но еще больше она была поражена визионерскими способностями раввина. Пару дней спустя несколько евреев из Кракова отправились в Варшаву и, к своему удивлению, застали пожилого раввина за исполнением своих обязанностей, во вполне сносном здравии. Вернувшись, они поведали эти новости общине. Начались смех и пересуды. Тогда несколько бесстрашных учеников решили выступить в защиту раввина. Они признали возможность ошибки, но в конце добавили: «И все же какой образ!»

Данная притча высмеивает человеческую способность рационализировать собственные верования, несмотря на свидетельства обратного. Однако одновременно на некоем более глубоком уровне она защищает и прославляет визионерскую спекулятивную мысль, пусть даже данная мысль и заводит в тупик. Именно эта интерпретация делает притчу

столь уместной в контексте рассматриваемого здесь эпизода интеллектуальной истории. Размышления Монтескье — Стюарта относительно позитивных политических следствий экономической экспансии были подвигом воображения в сфере политической экономии, подвигом, который впечатляет, даже если история доказала ошибочность основных содержательных моментов этих размышлений.

Но доказала ли? Вынести вердикт по данному вопросу в сравнении с вопросом о жизни или смерти варшавского раввина не так-то просто. В конце концов столетие, наступившее после наполеоновских войн, было достаточно мирным, оно засвидетельствовало упадок «деспотизма». Но с тех самых пор, как мы все знаем, что-то пошло не так: ни один наблюдатель из XX века не осмелится утверждать, будто бы исполненная надежд позиция Монтескье — Стюарта триумфально восторжествовала в последующей истории. И тем не менее следует заметить, что крушение данной перспективы вовсе не было тотальным. Те тенденции, которые наблюдались Монтескье и сэром Джеймсом Стюартом, утвердились лишь для того, чтобы затем быть преодоленными, пусть и не полностью, другими тенденциями, утянувшими историю в другом направлении. Какими же были эти противоположные тенденции?

Ответ на этот вопрос приводит нас к необходимости рассмотреть те связи между экономическими структурами и политическими событиями, которые ускользнули от внимания двух визионеров XVIII века, по совместительству оказавшихся родоначальниками политической экономии. Несколько авторов XVIII и XIX веков, продолжившие линию размышлений родоначальников, обнаружили

еще несколько закономерностей, но они добавили к ним уточнения и оговорки, которые, по сути, привели к совершенно иным выводам.

Краткий обзор сочинений такого рода можно вполне начать с Жозефа Барнава, великого оратора Учредительного собрания 1789–1791 годов и автора написанного незадолго до своей смерти на гильотине важного интерпретативного эссе, посвященного современной истории, — «Введение во Французскую революцию». Акцент, сделанный в данной работе на общественный класс, принес Барнаву некоторую славу предшественника марксистской мысли, однако себя он считал поклонником и продолжателем Монтескье. В короткой работе под названием «Влияние торговли на правительство» он действительно начинает вполне в духе своего учителя:

Торговля приводит к росту огромного класса, склонного к мирному сосуществованию, внутренней стабильности и приверженности утвердившемуся правительству.

Однако затем следует совершенно иная мысль:

Нравственность торговой нации отнюдь не полностью совпадает с нравственностью купцов. Купцы бережливы; общие нравы — расточительны. Купцы сохраняют свою мораль; общественная нравственность — растворяется<sup>1</sup>.

Подобно МанDEVИЛЮ и Адаму СМиту, которые показали, как именно отдельные индивиды, потакая

---

1. Цит. по: Emmanuel Chill, ed. Power, Property and History: Joseph Barnave's Introduction to the French Revolution and Other Writings. New York: Harper, 1971. P. 142.

собственным порокам или попросту преследуя собственный эгоистический интерес, могут одновременно способствовать общественному благополучию, Барнав также утверждает, что верное для части вовсе не обязательно окажется верным для всего целого. Однако эта «ошибка суммирования»<sup>2</sup> упоминается здесь именно для того, чтобы перевернуть прежние предпосылки с ног на голову. Барнав утверждает, что накопление частных добродетелей может привести к состоянию, которое можно называть каким угодно, но только не добродетельным. Однако он не дает реальных объяснений того, как это происходит, данный парадокс постулируется лишь для конкретных ситуаций, которые разбираются в работе. И тем не менее Барнав настойчиво подчеркивает, что ввиду «ошибки суммирования» общественные процессы оказываются куда менее прозрачными и подвластными прогнозам, чем казалось Монтескье.

Метод Барнава, когда вначале отдается должное конвенциональной мудрости относительно благоприятных следствий торговли для общества и политики, а затем следуют критические оговорки, был

---

2. Согласно Полу Э. Самуэльсону, «ошибка суммирования» есть самый главный и принципиальный момент, который нужно иметь в виду при изучении экономики. См.: *Paul A. Samuelson. Economics. 3rd edn. New York: McGraw-Hill, 1955. P. 9; Самуэльсон П. Экономика: вводный курс. М.: Прогресс, 1964. С. 31.* [В русском переводе учебника Самуэльсона «fallacy of composition» неверно переведено как «ошибочное построение доказательства». Подробнее об этом см.: *Гершенкрон А. Судьба учебника Самуэльсона в Советской России // Экономическая политика. 2009. №5. С. 44.— Примеч. ред.*]

еще более радикальным образом использован Адамом Фергюсоном, а затем Токвилем.

Будучи как шотландцем, так и членом той группы мыслителей, которую принято относить к Шотландскому Просвещению, Фергюсон с особой двусмысленностью относился к тем преимуществам, которые «отшлифованные» нации имели перед нациями «грубыми и варварскими». Подобно Адаму Смиту он отмечал негативные следствия разделения труда и торговли для личности и общественных уз, соединявших отдельных граждан; он указывает на них прямо на первых страницах своего «Опыта истории гражданского общества» (1767) и обрамляет свою критику в самых общих понятиях. Здесь Фергюсон предвосхищает не только более молодого Маркса, но также и Дюркгейма с Теннисом — он противопоставляет солидарность, характерную для тесно сплоченных племен, «духу, царящему в коммерческом государстве... [так как] именно здесь, как нигде, можно встретить людей уединенных и обособившихся», где «он начинает относиться к ним как к своему скоту или к земле, рассматривая их с точки зрения приносимой ими прибыли» и где «разорваны узы привязанности»<sup>3</sup>.

В то же время — и это особенно интересно для развития нашего аргумента — Фергюсон в гораздо большей степени, чем Адам Смит, жаждет поразмышлять о более общих политических следствиях экономической экспансии. Он делает это ближе к концу своего «Эссе», начиная с обманчиво ортодоксальных фраз:

---

3. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М.: РОССПЭН, 2000. С. 35.



Обнаружилось, что всегда — за исключением единичных случаев — развитие коммерческих и политических профессий шло рука об руку.

Далее он продолжает, все еще оставаясь в русле Монтескье и сэра Джеймса Стюарта:

Замечено, что у некоторых наций коммерческий дух, нацеленный на получение прибыли, проложил путь к политической мудрости<sup>4</sup>.

Он также упоминает аргумент, которому было суждено стать центральным пунктом всех последующих дебатов: богатые граждане могут превратиться «в грозную силу по отношению к тем, кто имеет претензии на обладание властью».

Однако сразу же после этого Фергюсон начинает детально разбирать причины, по которым обеспокоенность индивидуальным богатством может увести и в обратном направлении — к «деспотическому правлению». Среди этих причин фигурируют и те, что были стандартными для «республиканской традиции»: разложение республики через роскошь и мотовство<sup>5</sup>. Однако в эту традицию Фергюсон добавляет несколько примечательных новых идей. Например, среди причин, по которым «основание, на котором высилась свобода, может стать оплотом тирании», он называет *страх утраты богатства*, а также ситуации, в которых «наследники семейства оказываются в стесненных обстоятельствах и в нищете». Относительную депривацию и *ресен-*

---

4. Там же. С. 290.

5. Исчерпывающее изложение от Макиавелли до Гамильтона см. в: *Роскок. Machiavellian Moment*.

тимент, вытекающие из реальной или воображаемой нисходящей мобильности, начинают связывать со стяжательским обществом и его бурными процессами; эти чувства, по мнению Фергюсона, способны стать питательной почвой для принятия всего, что только не потребует «сильное» правительство для нивелирования этих мнимых или реальных опасностей<sup>6</sup>. Более того, торговля порождает желание спокойствия и эффективности, а это может быть еще одним источником деспотизма:

Когда мы полагаем, что правительство должно насаждать определенное спокойствие (чего мы больше всего и ждем от него) и добиваться того, чтобы ряд ветвей законодательной и исполнительной власти *как можно меньше вмешивался в коммерцию и предпринимательство*, то такого рода государство... куда ближе к деспотии, чем мы можем себе представить...

...ничто не представляет такой угрозы для свободы, как попытка измерять счастье нации милостью государя либо спокойствием, достигнутым путем правильного управления<sup>7</sup>.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной стороной метафоры экономики как деликатных часов сэра Джеймса Стюарта. Необходимость того, чтобы они работали — в качестве гарантии спокойствия, регулярности и эффективности, — никоим образом не является препятствием для деспотизма государя. Фергюсон справедливо замечает, что такая необходимость может вполне быть использована как ключевой аргумент в пользу авторитаризма, как, соб-

---

6. Фергюсон А. Опыт... С. 291.

7. Там же. С. 291 (курсив добавлен).

ственно, это уже было сделано физиократами и как это неоднократно делали и будут делать на протяжении последующих двух столетий.

Токвиль, писавший почти семьдесят лет спустя после Фергюсона в условиях Июльской монархии, выражал очень схожие амбивалентные чувства относительно значимости экономического прогресса для свободы. В одной из глав работы «Демократия в Америке» (1835) он тоже начинает с того, что повторяет конвенциональную мудрость:

Я не знаю, можно ли привести хоть один пример развитого в промышленном и торговом отношении государства, начиная с Тира и заканчивая Флоренцией и Англией, народ которого не был бы свободен. Таким образом, между этими двумя явлениями — свободой и промышленностью — существуют тесная взаимосвязь и прямая зависимость<sup>8</sup>.

И хотя данное высказывание очень часто цитировалось<sup>9</sup>, Токвиль, подобно Фергюсону до него, посвящает в оставшейся части главы гораздо больше страниц ситуациям, в которых преобладают прямо противоположные тенденции. Его обеспокоенность мотивирована состоянием Франции при Луи-Филиппе, когда Гизо в качестве модели поведения для граждан провозгласил: «Обогащайтесь!», а Бальзак написал:

---

8. Токвиль А. *де*. Демократия в Америке. М.: Весь Мир, 2000. С. 396.

9. Джон У. Неф использовал его в качестве эпиграфа для своего эссе из двух частей: *Industrial Europe at the time of the Reformation* (*Journal of Political Economy*. 49. Feb.—April 1941. P. 1).

Вы думаете, что у нас царствует Луи-Филипп? Ошибаетесь, но он-то сам не заблуждается на этот счет. Он знает не хуже нас, грешных, что выше хартии стоит святая, досточтимая, солидная, любезная, милостивая, прекрасная, благородная, вечно юная, всемогущая монета в пять франков!<sup>10</sup>

Данная эскапада на самом деле является пересказом тех ограничений государя, о которых писали Монтескье и сэр Джеймс Стюарт и которые они находили столь полезными; данный отрывок даже напоминает высказывание Рогана: *l'intérêt commande au prince*, если только изменить значение слова *intérêt* в соответствии с последующими семантическими сдвигами. Однако ни Бальзак, ни Токвиль не были готовы прославлять данное положение дел.

Сосредотачиваясь на тех опасностях, которые материальный прогресс может представлять для свободы, Токвиль в качестве точки отсчета берет ситуацию, при которой «...стремление к материальным благам... опережает развитие образования и свобод». В ситуации, когда люди пренебрегают общественными делами во имя частных накоплений, Токвиль решает поставить под сомнение тогда уже прочно утвердившуюся доктрину гармонии частных и общественных интересов:

*Подобные люди верят, что следуют философскому учению о реальных интересах, хотя понимают это учение весьма примитивно, и чтобы лучше следить за тем, что они называют «своим делом» (leurs affaires), они пренебрегают своей главной обязанностью — умением держать себя в руках.*

---

10. Бальзак О. де. Кузина Бетта.

В данном случае интересы очень далеки от того, чтобы приручать или ограничивать страсти правителей; наоборот, если граждане будут поглощены преследованием частных интересов, то «честолюбца... обнаружит, что путь открыт для любой узурпации». И здесь Токвиль обращает едкие и пророческие слова, написанные за годы до подъема Наполеона III, против тех, кто во имя благоприятного бизнес-климата алчет лишь «закона и порядка»:

Нация, не требующая от своего правительства ничего, кроме поддержания порядка, в глубине души уже поражена рабством; она поработочена своим благополучием, и всегда может появиться человек, способный заковать ее в цепи<sup>11</sup>.

Согласно Фергюсону и Токвилю, экономическая экспансия, а также сопутствующая ей озабоченность индивидуальным экономическим процветанием как способствуют развитию искусства политики, так и приводят к его деградации. Данная мысль впоследствии была подхвачена Марксом в его классовом анализе революций 1848 года: по мере развития событий политическая роль буржуазии превратилась из прогрессивной в реакционную. Однако более ранние формулировки в смысловом отношении все же богаче, так как они показывают, что экономическая экспансия в плане ее политических следствий двойственна по своей сути, тогда как марксистская мысль навязывает ей строгую временную последовательность: позитивные следствия по необходимости предвосхищают следствия негативные.

---

11. Токвиль А. *де*. Демократия в Америке. С. 396–397.

Та тревога, которую Фергюсон с Токвилем испытывали в отношении доктрины Монтескье — Стюарта, может быть обобщена в двух пунктах. Во-первых, в тезисе о том, что современная экономика, ее сложная взаимозависимость и экспансия, является столь деликатным механизмом, что любые *grands coups d'autorité* со стороны деспотического правительства становятся отныне попросту невозможными, есть и другая сторона. Если экономика действительно нуждается в защите, то тогда эта защита должна заключаться не только в ограничении опрометчивых поступков государя, но и в подавлении народных волнений, сдерживании притязаний народа на участие в политике, короче говоря, в сокрушении всего того, что может быть истолковано неким царем-экономистом в качестве угрозы должному функционированию «деликатных часов».

Во-вторых, Фергюсон и Токвиль имплицитно критиковали прежнюю традицию мысли, которая видела в преследовании материального интереса приемлемую альтернативу страстному стремлению к власти и славе. Пусть и не упоминая «ошибку суммирования», они выдвигали схожее возражение: до тех пор, пока не все играют в «невинную» игру зарабатывания денег, тотальное втягивание в нее большинства граждан оставляет некоторых, кто готов делать крупные ставки на власть, более свободными в смысле преследования собственных амбиций. В этом смысле общественные установления, призванные заменить страсти интересами в качестве руководящего принципа для действий большинства, могут иметь побочный эффект: они могут убить гражданский дух, открыв тем самым дверь для тирании.

Своим указанием на то, что утрата богатства и страх подобной утраты могут predispose народ в пользу тирании, Фергюсон максимально близко подошел к тому, чтобы сформулировать решающую и особенно разрушительную критику общей психологической предпосылки, на которой выстраивалось оптимистическое видение как Монтескье, так и прочих. Речь идет о предпосылке, согласно которой человек, преследуя собственные материальные интересы, научится противостоять своим страстям. Данная посылка, казавшаяся столь очевидной тем, кто наблюдал за процессом зарабатывания денег с некоторой дистанции и с некоторым презрением, дополнялась не менее утешительной мыслью, согласно которой «низы», или «великая толпа людская», имеют лишь интересы, не имея ни времени, ни тяги к страстям.

Как писал Гоббс, «к почестям и известности стремятся от природы все люди, но особенно те, кто вовсе не мучается заботами о хлебе насущном»<sup>12</sup>. И все же эта мысль допускает возможность того, что все радикально изменится, как только экономический рост заявит о себе в полную силу. Для Гоббса, как бы выразились экономисты, потакание страстям сильно связано с колебаниями дохода, следовательно, можно ожидать того, что обычные люди будут становиться все более страстными по мере того, как их доходы будут расти. Таким образом, в соответствии с самой логикой рассуждений Гоббса экономическая экспансия, первоначально восхваляемая за свою способность отвратить

---

12. Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 396–397.

человека от «честолюбивых помыслов», в конечном счете будет приводить к увеличению, а не к уменьшению значимости страстей. Руссо прекрасно понимал данную динамику, когда писал:

...с человеком в обществе дело обстоит совсем не так — ему нужно сначала позаботиться о том, что необходимо, потом уже об избыточном: приходят наслаждения, огромные богатства, появляются подданные, затем рабы, и нет у него ни минуты передышки. Еще более странно, что чем менее естественны и настоятельны потребности, тем более разгораются страсти и, что еще хуже, тем больше есть возможностей их удовлетворить<sup>13</sup>.

Однако идея о том, что люди, преследующие собственные интересы, навсегда перестанут быть источником беспокойства, была отброшена лишь после того, как реальность капиталистического развития предстала во всей красе. По мере того, как экономический рост в XIX–XX веках оторвал от родной почвы миллионы людей, привел к обнищанию многочисленных групп населения, обогатив лишь некоторые, вызвал массовую безработицу во время экономических кризисов, а также способствовал появлению современного массового общества, целому ряду наблюдателей стало очевидно: те, кто оказался в самой пучине этих насильственных трансформаций, имеют все основания становиться страстными — страстными в своем гневе, страхе и возмущении. Здесь нет никакой нужды приводить имена тех обществоведов, которые фиксировали

---

13. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 142.



эти тенденции и анализировали их под разными ярлыками, будь то отчуждение, аномия, ресентимент, *Vermassung*, классовая борьба и прочее. Именно потому, что мы находимся под влиянием этих исследований и еще больше под влиянием тех катаклизмов, которые мы пытаемся с их помощью понять, та концепция, которая здесь рассматривается, сама собой приобретает оттенок чего-то нереалистичного и даже — при поверхностном знакомстве — не заслуживающего серьезного внимания.

В заключительной части своей книги я покажу, почему, несмотря ни на что, данная концепция все же достойна реконструкции. В качестве краткой ремарки будет вполне достаточно отметить следующее: рассмотренные на этих страницах политические аргументы в пользу капитализма были отнюдь не единственными. Сегодня есть гораздо более знакомый аргумент, который гласит, что существование частной собственности и в особенности частной собственности на средства производства является обязательным фактором для обеспечения народа материальной основой, которая позволяет выражать несогласие с властью имущими и выступать против них. Например, право на свободу слова может оказаться пустым, если человек, который желает им воспользоваться, вынужден зарабатывать на жизнь, работая на те самые власти, которые он желает критиковать. Здесь у нас нет возможности оценивать данный аргумент или разбирать его детально; однако нет никаких сомнений в том, что для нас он звучит гораздо более правдоподобно, чем тот, который разбирался выше.

Основные доводы в пользу «современного» аргумента вытекают из сравнения капиталистических

и социалистических стран по критерию способности их граждан к сопротивлению властям<sup>14</sup>. Едва ли стоит удивляться тому, что во времена Монтескье этот аргумент не нашел своего выражения. Но для его появления не потребовалось ждать коммунистических режимов XX века. Он был сформулирован сразу же, как только институты частной собственности попали под огонь критики и как только началось внимательное изучение других возможных форм общественного устройства. Как ни странно, современный политический аргумент в пользу капитализма, сегодня ассоциирующийся с именами Мизеса, Хайека и Милтона Фридмана, впервые был озвучен никем иным, как Прудоном. Хотя Прудон и был красноречивым критиком института частной собственности — в конце концов, именно ему принадлежит знаменитое высказывание «собственность — это кража», — одновременно он опасался и чрезмерного роста власти государства. В своих последних сочинениях Прудон пришел к мысли о необходимости противопоставить этой власти схожую «абсолютную» власть — власть частной собственности<sup>15</sup>. К середине XIX века опыт капитализма был таковым, что идея относительно благого

---

14. Еще одна причина большей правдоподобности данного аргумента заключается в том, что он слегка скромнее: он рассматривает капитализм как необходимое, но недостаточное условие политической свободы. См.: *Фридман М. Капитализм и свобода*. М.: Новое издательство, 2006. С. 34.

15. Данная мысль подробно развивается Прудоном в его посмертно изданной работе «Теория собственности»: *Pierre-Joseph Proudhon. Théorie de la propriété // Pierre-Joseph Proudhon. Oeuvres complètes*. Paris, 1866. Vol. 27. P. 37, 134–138, 189–212.

влияния *le doux commerce* на природу человека полностью преобразилась: собственность отныне рассматривалась как дикая, безграничная и революционная сила. В силу этого Прудон готов был отвести ей роль силы, призванной уравновесить в равной степени пугающую власть государства. Он действительно использует понятие «уравновесить», тем самым увязывая свой тезис с той интеллектуальной традицией, которая была здесь прослежена; в этом смысле он подобен Гэлбрейту, который столетие спустя делал почти то же самое в несколько иной связи<sup>16</sup>. Однако само содержание мысли Прудона о характере собственности и природе стяжательства находилось на значительной дистанции от того, как писали на данные темы в предшествующие столетия.

## Обетования мира, которым правит интерес, *vs.* протестантская этика

В сравнении с тем, что может быть названо аргументом Прудона, концепция Монтескье — Стюарта относительно политических достоинств капитализма представляется несколько странной, если не нелепой. Но во многом именно этим она ценна и интересна. Именно в силу своей чуждости для современного сознания она и оказывается способ-

---

16. *John Kenneth Galbraith. American Capitalism: The Concept of Countervailing Power. Boston: Houghton Mifflin, 1952.*

на бросить некоторый свет на все еще загадочные идеологические обстоятельства, касающиеся подъема капитализма.

Очевидный способ погрузиться в данную тему — сравнить тот анализ превращения стяжательства в уважаемое занятие, который можно найти в данной работе, с тезисом Вебера о протестантской этике и всей той дискуссией, которая вокруг него развернулась. Как неоднократно отмечалось выше, экспансия торговли и промышленности в XVII и XVIII веках приветствовалась и продвигалась не маргинальными социальными группами, не мятежной идеологией, но целым течением, которое возникло в самом эпицентре «структуры власти» и «истеблишмента» своего времени, и возникло оно благодаря проблемам, которые государь и его советники, а также прочие обеспокоенные представители знати пытались решить. Впервые с конца Средневековья — во многом по причине участвовавших случаев войн и гражданских столкновений — был предпринят масштабный поиск поведенческих аналогов религиозных предписаний, то есть новых правил поведения и средств, которые позволили бы навязать столь необходимую дисциплину, а также ограничения как правителям, так и управляемым. В этом отношении экспансия торговли и промышленности казалась весьма перспективной.

Вебер и его последователи, равно как и большинство критиков, сосредотачивали свое внимание прежде всего на психологических процессах, благодаря которым некоторые группы людей становились всецело преданными импульсу рационального капиталистического накопления. В моем повествовании тот факт, что некоторые люди действительно были

настроены таким образом, принимается как нечто само собой разумеющееся, но вместе с тем я обращаю внимание на реакцию на данный новый феномен со стороны тех, кого сегодня мы могли бы назвать интеллектуальной, управленческой и административной элитой. Данная реакция была благоприятной не потому, что стяжательство одобрялось само по себе, но потому, что оно связывалось с благоприятными побочными эффектами: оно удерживало тех людей, который были в него вовлечены; «от зла», кроме того, оно обладало добродетельной способностью ограничивать капризы государя, деспотические меры и авантюрную внешнюю политику. Вебер утверждает, что капиталистическое поведение и соответствующие формы деятельности были косвенным (и изначально непреднамеренным) следствием отчаянного *поиска индивидуального спасения*. Мой тезис заключается в том, что распространение капиталистических форм во многом связано с не менее отчаянным поиском механизмов *предотвращения распада общества*, угроза которого была постоянной в силу очень шатких механизмов внутреннего и внешнего порядка. Очевидно, оба данных тезиса могут быть верными в одно и то же время: один касается мотиваций новых целеустремленных элит, второй — мотиваций различных привратников. Однако тезис Вебера привлек к себе такое внимание, что вторая перспектива оказалась полностью забытой.

Между тезисом Вебера и тем идейным течением, которое рассматривается здесь, есть и еще одно более важное отличие. Вебер утверждает, что учение Кальвина о предопределении привело его последователей не к фатализму, но к неистовому поиску земных наслаждений через — что весьма любопыт-

но и неожиданно — методическую деятельность, исполненную целеустремленности и самоотречения. Данный тезис представляет собой не просто удивительный парадокс — он описывает одно из тех примечательных непреднамеренных последствий человеческих действий (или в данном случае мыслей), обнаружение которых стало высшим делом и устремлением обществоведов со времен Вико, Мандевиля и Адама Смита. Но на основе того повествования, которое было предложено на данных страницах, я могу заметить, что открытия прямо противоположного рода вполне возможны и не менее ценны. С одной стороны, нет никаких сомнений в том, что человеческие действия и социальные решения могут иметь последствия, которые оказываются изначально совершенно непреднамеренными. Но, с другой стороны, эти действия и решения нередко материализуются именно потому, что есть *серьезные и несомненные ожидания определенных последствий, которые в результате так и не наступают*. Этот феномен, будучи структурным эквивалентом феномена непреднамеренных следствий, также нередко оказывается одной из его причин; иллюзорные ожидания, связываемые с некоторыми общественно значимыми решениями в момент их принятия, помогают скрывать те *реальные* последствия, которые данные решения будут иметь.

И именно поэтому данный феномен представляет для нас интерес: ожидание больших, пусть даже и нереалистических, выгод позволяет существенно облегчить принятие некоторых общественно значимых решений. Изучение и выявление этих ожиданий позволяет сделать процесс социальных изменений более понятным.

Как ни странно, именно ожидаемые, но не осуществившиеся последствия социально важных решений нуждаются в гораздо более кропотливом обнаружении, чем те последствия, которые были непреднамеренными, но в результате оказались слишком реальными: вторые, по крайней мере, наличествуют, тогда как ожидаемые, но не осуществившиеся последствия могут быть вычленены лишь из прогнозов социальных акторов, делаемых в определенный — нередко мимолетный — момент времени. Более того, как только эти чаемые следствия не случаются и не приходят в мир, тот факт, что на них изначально рассчитывали, не только забывается, но еще и активно подавляется. Здесь дело даже не столько в акторах, заботящихся о своей репутации, сколько в том, что новоявленные власть имущие должны быть уверены в легитимности нового порядка: какой социальный строй переживет осознание того, что его становление было связано с уверенностью в его способности решить определенные проблемы, которые он в результате так и не смог решить?

## Заметки о наших днях

То, насколько идеи, рассматриваемые в данном эссе, оказались стертыми из коллективного сознания, можно увидеть, обратившись к некоторым современным критикам капитализма. Один из наиболее притягательных и влиятельных вариантов такой критики делает акцент на репрессивных чер-

тах капитализма, указывая на то отчуждение, к которому он приводит, на то, как он препятствует развитию «полноценной человеческой личности». С точки зрения материалов моего исследования это обвинение несколько несправедливо, так как капитализм, как ожидалось, должен был подавить некоторые человеческие стремления и склонности и привести к формированию менее многомерной, менее непредсказуемой и более «одномерной» личности. Подобные ожидания, сегодня кажущиеся столь странными, выросли из обеспокоенности ясными и очевидными опасностями определенного исторического периода, они выросли как реакция на те деструктивные силы, которые были приведены в действие человеческими страстями. Из этих страстей, как считалось, было одно исключение — «безобидная» алчность. *Короче говоря, капитализм изначально должен был достигнуть именно того, что вскоре было объявлено его наихудшей чертой.*

Как только капитализм восторжествовал, «страсти» были или ограничены, или даже истреблены, а Европа после Венского конгресса превратилась в относительно мирный, спокойный и ориентированный на торговлю континент, мир внезапно стал казаться пустым, мелочным и скучным, все было готово для романтической критики буржуазного порядка как невероятно убогого по сравнению с прежними веками. Новому миру, как считали романтики, не хватало благородства, величия, тайны и, прежде всего, страсти. Значимые следы этой ностальгирующей критики могут быть обнаружены во всей последующей социальной критике: Фурье с его защитой страстного притяжения, Маркс с его теорией отчуждения, тезис Фрейда о подавлении либидо



как плате за прогресс, концепция расколдовывания (*Entzauberung*) Вебера, то есть прогрессивного разложения магического взгляда на мир. Во всех этих эксплицитных и имплицитных критических выпадах в адрес капитализма есть лишь очень смутное осознание того факта, что прежняя эпоха, мир «целостной человеческой личности», насыщенный страстями, казался его современникам угрозой, требовавшей максимально быстрого устранения.

Противоположного рода забывчивость также налицо: она заключается в выдвигании идей, аналогичных тем, что выдвигались ранее, без всякой отсылки к той встрече с реальностью, которая у них уже была, встрече, которая едва ли часто оказывалась в полной мере удовлетворительной. В качестве некоего вводного замечания вполне можно отметить следующее: максима Сантаяны — «тот, кто не помнит своего прошлого, обречен повторять его» — гораздо более справедлива именно в отношении истории *идей*, чем в отношении истории событий. Последняя, как мы все знаем, никогда не повторяет себя в полной мере; однако две *отдаленно напоминающие друг друга ситуации* могут, будучи разнесенными в пространстве и времени, дать *одинаковые и одинаково ложные мыслительные ответы*, если прежний эпизод интеллектуальной истории так и не был усвоен. Причина, естественно, заключается в том, что мысль абстрагируется от целого ряда деталей, которые она считает несущественными, но которые составляют уникальность каждой конкретной исторической ситуации.

Буквальная и досадная правота максимы Сантаяны в ее приложении к истории идей может быть проиллюстрирована на уровне самой передовой со-

временной социальной мысли. После той истории, которая была здесь изложена, просто мучительно видеть, как Кейнс в своей характерной неброской защите капитализма прибегает к аргументу, абсолютно тождественному тому, который использовали доктор Джонсон и прочие мыслители XVIII века:

Более того, опасные человеческие наклонности можно направить по сравнительно безобидному руслу там, где существуют перспективы «делать деньги» и накапливать личное богатство. Эти же наклонности, если они не могут быть удовлетворены таким путем, могут найти выход в жестокости, безрассудном стремлении к личной власти и влиянию и других формах самовозвеличивания. Лучше, чтобы человек тиранил свои текущие счета, чем своих сограждан. И хотя часто говорят, что первое — это лишь средство ко второму, все-таки иногда это представляет хоть какую-то альтернативу<sup>17</sup>.

Перед нами старая идея о стяжательстве как «невинном» времяпрепровождении и выходе для людских энергий; как институте, который отвращает людей от антагонистической конкуренции за власть во имя несколько нелепой и тошнотвор-

---

17. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег. М.: ЭКСМО, 2007. С. 334. Карикатурой на данную точку зрения можно считать позицию Хайека, когда он выступает в защиту института наследования, утверждая, что с точки зрения социальных последствий передача денег по наследству представляет собой менее пагубный способ наделения своих детей незаслуженными привилегиями, чем активный прижизненный поиск для них выгодных местечек. Здесь просто бросается в глаза очевидность того, что одно не исключает другого. См.: *F. A. Hayek. The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press, 1960. P. 91.

ной, но по своей сути безобидной практики накопления богатства.

Другой знаковой фигурой, выступившей с сильной, пусть и косвенной, апологией капитализма, исходя из его благоприятных политических следствий, был Шумпетер. В своей теории империализма<sup>18</sup> Шумпетер утверждает, что территориальные амбиции, желание колониальной экспансии и воинственный дух в целом не были, как считал Маркс, неизбежными следствиями капиталистической системы. Скорее, они вытекали из остаточной, докапиталистической ментальности, которая, к сожалению, прочно укоренилась среди правящих элит основных европейских держав. Согласно Шумпетеру, капитализм сам по себе не мог способствовать завоеваниям и войнам: его дух рационален, расчетлив, а значит, не расположен к масштабному риску, имплицитно присутствующему в таких мероприятиях, как война и прочие пережитки героизма. При всей своей ценности противовеса различным марксистским теориям империализма взгляды Шумпетера демонстрируют меньшую проницательность относительно сложности тех проблем, с которыми он имеет дело, чем, например, анализ Адама Фергсона и Токвиля, который не так давно был нами рассмотрен. И еще до них был кардинал де Рец с его тезисом о том, что страсти не следует сбрасывать со счетов в том числе и в тех ситуациях, когда поведение, мотивированное интересом, становится во главу

---

18. *Joseph A. Schumpeter. The Sociology of Imperialisms (1917) // Joseph A. Schumpeter. Imperialism and Social Classes. New York: Kelley, 1951.*

угла, предлагает аргументы гораздо более утонченные, чем позиция Кейнса и Шумпетера.

Свое исследование мне бы хотелось завершить выводом о том, что как критики, так и защитники капитализма могли бы улучшить качество своей аргументации за счет знания того эпизода интеллектуальной истории, который был здесь рассмотрен. Наверное, это единственное, что можно требовать от истории вообще и истории идей в частности: не разрешать вопросы, но как минимум повышать сам уровень споров.

# Издательство Института Гайдара

Книги, выпущенные в 2011 году:

Йозеф Шумпетер. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса

Как избежать ресурсного проклятия. Под ред. М. Хамфриса, Д. Сакса и Д. Стиглица

Джефф Малган. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во имя всеобщего блага

Джон К. Богл. Битва за душу капитализма

Джеффри Д. Сакс. Конец бедности. Экономические возможности нашего времени

Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайнгаст. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества

И. Стародубровская, Д. Лободанова, Л. Борисова, А. Филюшина. Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России

С. Г. Синельников-Мурылев, Е. В. Шкробела. Совершенствования налога на прибыль в Российской Федерации в среднесрочной перспективе

Джулиан Ле Гранд. Другая невидимая рука

Грегори Кларк. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира

Марк Касселл. Как правительства проводят приватизацию.

Философия экономики. Под ред. Дэниела Хаусмана

Лайонел Роббинс. История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики

и другие.

спрашивайте в московских магазинах  
**Книжный клуб «36'6», «Академия», «Библио-глобус»,  
«БукВышка», Магазин книги «Вестник», «Гилея», «Гнозис»,  
«Молодая гвардия», «Москва», Галерея книги «Нина»,  
«Проект ОГИ», «Русское зарубежье», Книжная лавка  
«У Кентавра», «Фаланстер», «Циолковский»,  
книжных киосках в Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
и в книжных магазинах своего города,**

заказывайте в интернет-магазинах  
**www.ozon.ru, www.labirint.ru,  
urait-book.ru, www.books.ru, my-shop.ru, www.zone-x.ru,  
www.biblion.ru, read.ru, goodreads.ru, www.colibri.ru.**

По вопросам оптовой закупки обращайтесь по адресу:  
Москва, М. Гнезниковский пер., 9/8 стр. 3а,  
тел.: (495) 629-05-54  
sales@europublish.ru (Владимир Солдатов)

*Научное издание*

АЛЬБЕРТ О. ХИРШМАН

**Страсти и интересы: политические аргументы  
в пользу капитализма до его триумфа**

*Главный редактор издательства*

Валерий Анашвили

*Научный редактор издательства*

Артем Смирнов

*Выпускающий редактор*

Елена Попова

*Художник серии*

Валерий Коршунов

*Обложка Екатерины Трушиной*

*Верстка Сергея Зиновьева*

*Корректор Татьяна Пальгунова*

*Издательство Института Гайдара*

125993, Москва, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1

Подписано в печать 28.02.2012. Формат 84×108/32.

Тираж 1000 экз. Гарнитура ITC New Baskerville.

Печать офсетная. Заказ № 262

Отпечатано в типографии

ППП «Типография „Наука“»

121099, Москва, Шубинский пер., д. 6

ISBN 9-785-93255-326-8

